

**Елена
Арсеньева**



РУССКАЯ КРАСАВИЦА



Две невесты

**ЦЫГАНСКОЕ ГАДАНИЕ
СБЫВАЕТСЯ ВСЕГДА**

Русская красавица

Елена Арсеньева

Две невесты

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Арсеньева Е. А.

Две невесты / Е. А. Арсеньева — «Эксмо», 2020 — (Русская красавица)

ISBN 978-5-04-116453-9

Порой судьба столь причудливо бросает свои карты, что сразу и не поймешь, где козыри. Юная красавица Антонина в одночасье лишилась деда и узнала, что отец ее – цыган, к которому убежала в табор ее мать... Всеми силами отказывается девушка от помощи объявившегося брата, цыгана Яноро. Но тот знает, что ей суждено стать женой богача, – а потому Яноро старательно расчищает невесте путь. А что гибнет при этом честь другой невесты, что несчастье множится на несчастье – так это все судьба, перед которой не властны люди! Но не тот у Антонины характер, чтобы слепо следовать судьбе и чужой воле. Она пытается бороться. Только что поделать, если любимый уже обвенчался с другой?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-116453-9

© Арсеньева Е. А., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава пятая	22
Глава шестая	24
Глава седьмая	30
Глава восьмая	35
Глава девятая	40
Глава десятая	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Елена Арсеньева

Две невесты

Судьба свои дела вершит Не без подмоги человек...

В. Третьяковский

Глава первая Цыгане

– Сивый, Сивко! Иди, иди сюда! Сивушко, миленький! Ну иди же ко мне, башка твоя дубовая!

Голос Антонины сорвался на крик, однако без толку: ни Сивко, ни Сивушко, ни «башка дубовая» с места не двинулся, лишь недоверчиво косил влажными карими глазами на девушку, которая держала в руке увесистый ржаной ломоть.

Конечно, черный хлеб, припорошенный солью, выглядел приманчиво, однако Сивка отлично знал, что за кушак хозяйки заткнута плетка, а в другой руке, спрятанной за спину, зажат недоуздок, которым его в один миг оборачивают, лишь только он зазеваётся. Да еще и плетью угостят! Ну а потом одна дорога – обратно в конюшню, пляться в унылую деревянную загородку и ждать, когда хозяйка вставит ему в рот железные удила, взвалит на спину седло, вскочит сама и заставит то рысью, то трусцой мотаться на лесам-полям да прыгать через овражки, за малейшее непослушание охаживая по спине плеткой. Такое – Сивка знал – у нее называлось прогулкой. Только разве ж это прогулка?! Прогулка – это когда конь несется куда хочет, а не когда его направляет воля хозяйки, у которой нрав столь прихотлив: то жесток, то милостив. Мудрено ли, что Сивка не желает под эту волю возвращаться?

Нет, на приманку он не клонет! Май нынче ранний да теплый, травыщи кругом уже волюю, вода в ручьях бежит – как-нибудь проживет он и без хлеба неволи, пусть даже и присоленного!

Конь мотнул головой, да так строптиво, что Антонина, которая затаила дыхание в надежде, что он вот-вот потянется губами к хлебу, мгновенно поняла: ничего не выйдет, Сивка сейчас ускачет и не вернется! Потеряла она коня – не простил той порки, которую задала ему хозяйка вчера за непослушание. Неужто прав был старый конюх Леонтий, который знай ворчал, расседывая Сивку и обтирая его взмыленные да исхлестанные бока: «Конь хоть и животино, а человеческое обращение любит, так будь с ним человечно, ведь и ты, и он Божьи твари!» И дед, значит, был прав, когда терпеливо увещевал: «Тонюшка, душенька, будь ты хоть малость помягче да помилостивее, Сивка тебя лучше бы слушался!»

Антонина не верила, потому что сама никогда не слушалась тех, кто был с нею мягок да милостив: ни няньку свою Дорофею, ни деда Андрея Федоровича, ни, понятное дело, конюха Леонтия. А вот когда приезжала подруга ее покойной матушки, графиня Елизавета Львовна Стрешнева, глядевшая свысока, цедившая слова сквозь зубы, Тонюшка ходила перед ней по струночке! А та на ласку скупилась – бывало, и на нитку Тонюшку сажала, когда та озорничала: привязывала к ножке стола или стула, и Боже упаси ту нитку разорвать – сразу выпорет графиня, да пребольно! Но такое редко случалось, ибо при ней Тонюшка была как шелковая, и в каждом слове ее, в каждом взгляде можно было услышать и увидеть только одно: желание угодить всемогущей Елизавете Львовне, которая живет в своем имени где-то между Владимиром и Москвой, а в Арзамас наезжает не чаще чем раз в год, чтобы проведать своих старых-престарых незамужних тетюшек, обитавших в доме ее покойных родителей, ибо сама графиня родом тоже была арзамасская. Раньше она никакой графиней, честно говоря, не была... просто-напросто граф Стрешнев, случайно встретившись с ней, некогда женился на ней не то из-за несказанной красоты, не то из-за богатейшего приданого, которое помогло ему навести порядок в его вотчине¹ Стрешневке и прочие дела поправить. Теперь графиня то в Стрешневке жила, то в Москву наезжала.

¹ Вотчина – наследственное земельное владение (старин.). Здесь и далее прим. автора.

Москва манила Тонюшку так же неодолимо, как манит в студеной день ясное солнышко. Смотрела бы на него да не насмотрелась! Но до солнца добраться можно только в сказках, которые плетет на ночь глядя нянька Дорофея, норовя унять, утешить, успокоить своенравное дитяtko. А дитяtko в сказки не верит – верит только в скупые рассказы Елизаветы Львовны о Москве, о ее ровных мостовых, по которым с утра до ночи, а то и далеко за полночь звонко цокают копыта и гремят колеса, о нарядных и веселых людях, которые в Москве живут. А иные, самые везучие и счастливые, поселились даже не в Москве, а в стольном граде Петербурге, и среди них молодой граф Михаил Иванович Стрешнев, сын Елизаветы Львовны... Это был постоянный посетитель девичьих снов Антонины – девичьих, но отнюдь не скромных, ибо скромницей она не была отродясь, зато ловко таковой притворялась – именно для графини Елизаветы Львовны. В своей низенькой светелке, которую озаряла свечка, торчащая из закопченного подсвечника, она предавалась мечтам столь смелым и дерзким, что графиня Стрешнева была бы изумлена до крайности, если бы могла о них узнать!

Что и говорить, Елизавета Львовна Стрешнева и сама была отчасти виновата в этих мечтаниях, ибо при каждой встрече с Антониной сулила, что, лишь девочка подрастет, она будет взята в Стрешневку горничной – за красоту и умение угождать. Верно: ежели с кем была Антонина приветлива, ежели и угождала кому, то лишь графине, видя в ней существо безусловно высшее, достойное подражания и почтения.

Госпожа Стрешнева приказала деду Антонины позаботиться о ее образовании, и Антонину научили бегло читать (впрочем, выдуманные истории ее очень мало привлекали!) и разборчиво писать (грамоту она хорошо усвоила и писала куда лучше своего учителя-дьячка). Елизавете Львовне желательно было иметь не столько горничную, сколько хорошенькую и мало-мальски образованную компаньонку (по-старинному говоря, наперсницу) – по той моде, которая установилась в обеих русских столицах в последние времена, когда новомодные европейские обычаи вытеснили дедовские, исконно русские. Как водится и будет водиться из века в век, низшие подражали высшим, так что и дамы придворные, и ко двору не приближенные заводили себе компаньонку – для доверительных бесед и мелких услуг. К тому же графиня Стрешнева любила все красивое, а ведь Антонина была подлинной красавицей: с гладкими, смолью отливающими волосами, смуглолицая, с пухлыми алыми губами, гордым изломом бровей и черными жгучими глазами.

Впрочем, у Елизаветы Львовны была еще одна причина принимать участие в судьбе дочери ее покойной подруги, однако об этой причине никто не ведал, кроме самой графини и Андрея Федоровича Гаврилова, деда Антонины. Он уповал на Божье милосердие и надеялся, что об этом деле так никто и никогда не узнает. Графиня же Елизавета Львовна весьма чтит Евангелие от Луки, в котором сказано: нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Она, при внешней надменности и даже суровости, была жалостлива и надеялась, что печальная правда откроется уже после того, как ей удастся увезти Антонину из Арзамаса, так что удар поразит девушку с меньшей, не убийственной силой.

Нрав Антонина имела вспыльчивый, и когда бури волновали глубины ее души, из ее глаз ну просто-таки искры сыпались! Однако она была умна, а потому умела очаровать любого, если давала себе труд постараться. Да, люди на ее счет могли ошибаться, но животные не ошибались никогда, именно поэтому ни кошки, ни собаки к ней никогда не ластились, хоть и опасались царапаться, кусаться и даже облаивать – чуяли, что для них это может очень плохо закончиться! – а с лошадьми Антонина могла поладить только с помощью плетки. Она не замешкалась бы и сейчас пустить плетку в ход, чтобы укротить упрямого Сивку, однако для этого надо было подобраться к нему поближе, а как это сделать, если он даже от хлеба с солью воротит морду свою упрямую?!

Вот уже повернулся, вот сейчас ускачет прочь...

Но Сивка внезапно вскинул голову, насторожился, запрядал ушами, словно прислушивался к чему-то. Шея его тревожно выгнулась. В то же мгновение раздался тихий свист, и Антонина поняла, что свист раздавался и раньше, но она его не расслышала, а конь своим острым слухом уловил этот звук, оттого и насторожился.

Что за свист? На птичий не похож!

Вот свист раздался вновь. Сивка переступил с ноги на ногу, а потом сделал несколько шагов к березовому подлеску. Если он туда канет, сразу из глаз скроется, за ним не уследишь, почует свободу – убежит.

– Стой! – крикнула Антонина, и конь испуганно взвился на дыбы, заметался из стороны в сторону, круша копытами молоденькие деревца и поворачиваясь к бывшей хозяйке. Антонина завизжала было вновь, на сей раз от страха, однако кто-то с силой дернул ее за руку, оттаскивая в сторону.

Антонина изумленно уставилась на маленькую, худенькую, совсем юную девушку с черными кудрями, небрежно прикрытыми переливчатым алым платком. Одета она была в дикую² холщовую рубаху и домотканую полосатую юбку. Одежда самая простая, но алый платок... такие нечасто увидишь, на ярмарке за них огромные деньги торговцы дерут, ибо шелк для них везут из каких-то баснословных стран! Откуда же у этой простенькой девчонки такой платок? Может, украла где-то?..

– Молчи, – шепнула тем временем девушка, глядя на Антонину чуть раскосыми черными глазами. Брови ее прихотливо разлетались к вискам, большой рот, чудилось, постоянно готовился к улыбке. Она была похожа на диковинную птичку. – Не мешай Яноро.

– Кому? – пробормотала Антонина, однако девушка прижала палец к губам и выразительно повела глазами в сторону.

Антонина проследила за ее взглядом и увидела какую-то тень, мелькнувшую в зарослях. Оттуда снова послышался свист, и Антонина заметила, что Сивка уже не мечется, а спокойно переминается с ноги на ногу. Не переставая посвистывать, тень выдвинулась из зарослей – и Антонина увидела, что это человек, одетый в черное. Он метнулся вперед и вмиг оказался верхом на Сивке, яростно крикнув:

– Лачи, бенг рогэнса!³

К изумлению Антонины, конь не сбросил всадника, даже не вздыбился, а замер, словно заколдованный, и девушка смогла разглядеть незнакомца.

Это был смуглый парень лет восемнадцати-двадцати, не больше, в черных штанах и черной рубахе, подпоясанной веревкой, в лихо заломленной войлочной шляпе, из-под которой выбивались смоляные кудри. В ухе остро блеснула круглая – кольцом – золотая серьга. Ноги его, обутые в высокие сапоги, сжимали бока Сивки. Одной рукой он вцепился в гриву, а другую протянул к Антонине и, нетерпеливо прищелкнув пальцами, на которых сверкнули золотые перстни, отдал какой-то странный приказ:

– Совари!

– Что? – хлопнула Антонина глазами.

– Уздечку ему дай! – подсказала девушка и, не дожидаясь, пока ошеломленная Антонина сообразит, что надо делать, выхватила у нее недоуздок и бросила парню, который ловко подхватил тонкий ремень и, свесившись со спины коня, поднес недоуздок к его рту.

Сивка строптиво вздернул голову.

– Не возьмет! – пробормотала Антонина, оскорбленная тем, что этот незнакомец делает с ее конем все что хочет, а тот слушается.

– У Яноро да не возьмет?! – усмехнулась девушка. – Что ты! Еще как возьмет!

² Дикий холст – небеленый, тускло-серого или соломенного цвета.

³ Тихо, черт с рогами! (цыганск.)

И, прежде чем она проговорила это, конь принял ремень недоуздка и, покорно наклонив голову, потянул зубами листок с березки.

– Гэниито, сыво грай! Гожони!⁴ – накинув узду на ветку, проговорил парень (Антонина ни слова не поняла, однако по выражению лица угадала, что незнакомец Сивку хвалит), спрыгнул с коня и отошел от него, не сводя с Антонины озорных, даже дерзких черных глаз.

Странно... девушке вдруг показалось, что она уже где-то видела эти глаза, окруженные длинными, круто загнутыми ресницами.

Впрочем, сейчас не до этого странного незнакомца с такими знакомыми глазами.

– Сивка сейчас убежит! – вскрикнула девушка испуганно. – Дай мне узду!

– Тихаэ!⁵ – прошипел парень на том же странном языке, однако это слово Антонина сразу поняла и испуганно умолкла.

В самом деле, чего это она разоралась? Испугается Сивка и ускачет прочь...

– Не надо на коня кричать, – негромко сказал незнакомец. – Бить коня не надо. Говори с ним ласково – он все поймет, люби его – он все для тебя сделает.

Ну надо же! И черноглазый туда же! Да слышала, слышала Антонина уже это! От деда, от Леонтия слышала! Надоело, когда повторяют одно и то же!

Она сердито нахмурила брови, но парень вдруг расхохотался:

– Смотри, Флорика, ну до чего она на баро Тодора похожа! Как вылитая! Особенно когда злится!

Антонина вытаращила глаза. Ого, так он не только какой-то тарабарщиной изъясняется! Он и по-русски говорит, хотя и немного странно произносит некоторые слова.

Из какого же он народа? И кто такой этот баро Тодор? Почему Антонина на него похожа?!

Она подозрительно посмотрела на парня. Ишь, одежда его – рвань рванью, а золота на себя навесил – небось даже на графине Стрешневой столько не увидишь! У девушки, которую, как легко было понять, зовут Флорикой, всего одно маленькое колечко, да и то не на пальце, а на нитяном шнурке на шее висит. А этот... золотых дел мастера ограбил, что ли?! Судя по хищному, дерзкому взгляду, он способен на все что угодно!

Тем временем Флорика внимательно оглядела Антонину и усмехнулась:

– Что ж странного в ее сходстве с баро Тодором? Она и на тебя похожа, Яноро. Ведь вы брат и сестра!

Антонина даже рот открыла. Что за сумасшедшие встретились ей в лесу?! Следовало бы высокомерно посмеяться над их бреднями, однако она едва не задохнулась от возмущения.

– Что вы несете?! – крикнула яростно и даже топнула сапожком, но замерла, вдруг сообразив, где раньше видела эти черные глаза, окруженные длинными ресницами.

Да в зеркале! В зеркале, когда смотрелась в него, любуясь своей красотой, своими глазами, своими ресницами!

У Яноро такие же глаза, как у нее. Совершенно такие же глаза...

– Кто ты такой? – испуганно прошептала Антонина. – И о чем говоришь?

– Я цыган, – усмехнулся Яноро. – И ты цыганка, хотя всего лишь наполовину. Моего отца звали Тодором. Он был и твоим отцом. Ты моя единокровная сестра.

Эти слова были настолько нелепы, настолько оскорбительны, что возмущение помогло Антонине перевести дух и собраться с силами. Дед говорил, что она и впрямь похожа на своего отца, однако им был никакой не баро Тодор, а гвардейский поручик Федор Иванович Коршунов, павший в чужих краях и там же преданный земле. Антонина его никогда не видела – так же, как и свою матушку, умершую при родах, – однако и дед, и нянька рассказывали, что отец был смугл, черноглаз и черноволос: дочка удалась вся в него.

⁴ Хороший конь, серый конь! Красавец! (цыган.)

⁵ Тихо! (цыган.)

– Гнусный лжец! – прошипела Антонина. – Все цыгане – лгуны и воры! Кого ты обокрал, что столько золота на себя навесил? А что же девчонке этой всего лишь одно колечко дал?

– Я никого не грабил! – зло сверкнул глазами Яноро. – Золото мне наш отец в наследство оставил! Баро Тодор! А ты знай: цыган в зимние холода лучше мерзнуть будет, но купит не шубу, а куртку с золотыми и серебряными галунами. Мы любим красоту и блеск! Мы свободны и богаты! У нас в таборе все мужчины в золоте ходят. Однако только ромнори, замужние цыганки, драгоценные мониста надевают. А девушка-цыганка не должна носить золото. Да, у Флорики только одно колечко на шее. Это значит, что она просватана. За меня просватана! Она моя невеста! Вот сыграем мы свадьбу – и у нее шея согнется под тяжестью золотых ожерелий! Пойдем с нами в табор, сестра, найдем и тебе мужа. Когда-то твоей матери очень нравилась наша вольная жизнь – ты ее тоже полюбишь.

– Что-о? – протянула Антонина ошеломленно. – Моей матери нравилась жизнь с таким отребьем? Моей матери, честной купеческой дочери?! Да что ж это я?! Какой-то бродяга врет мне, а я уши развесила?! Пошел вон говорю, не то...

Она замахнулась плетью, готовая огреть Яноро, однако тут же вскрикнула от боли в плече. Рука онемела, повисла, как тряпичная, и плетка выпала из бессильных пальцев.

Антонина растерянно повела глазами и перехватила напряженный взгляд Флорики. Знать, не зря про цыган говорят, будто они воры, первейшие конокрады, ну а все их женщины – ведьмы. Значит, и Флорика такая же: ведь это ее взгляд словно вцепился в Антонину и не дает ей даже рукой шевельнуть!

– Строптивая лошадка моя сестра! – хохотнул Яноро. – Не веришь, что у нас один отец? Ну что ж, спроси своего деда, кто такие баро Тодор и Донка. И помни: цыганская кровь рано или поздно даст себя знать! А еще запомни: если хоть один раз крикнешь на своего коня или плеткой его хлестнешь, он взбесится и затопчет тебя. Мы на него заклятье наложили. Не спасешься, гробом своим клянусь! А теперь прощай... пока прощай. Но мы еще встретимся!

Яноро и Флорика переглянулись, помахали Антонине и канули в чащу. Ни шороха травы не услышала девушка, ни вершины деревьев не колыхнулись, отмечая путь странной пары. Словно растворились цыгане в сумраке лесном!

Ходят слухи, что их племя с чертом водится. Небось и с лешим тоже...

Антонина осторожно шевельнула рукой – та слушалась, как прежде, не болела.

– Сивка, – позвала негромко, и конь повернул к ней голову. – Ну ты смотри, шишига серый, – пригрозила было Антонина, – сызнава начнешь уросить⁶, я тебя...

И тут же испуганно осеклась. Конечно, этот паршивый цыган просто пугал, уверяя, будто Сивка может затоптать хозяйку и убить, но что если это так?.. Нет, лучше не испытывать судьбу. Может, и верно говорил дед, мол, надо быть с конем поласковее? А вот любопытно, скажет ли он правду, если Антонина и впрямь спросит... спросит про баро Тодора и какую-то Донку?

Да она и спрашивать не станет! Вот еще! Больно надо!

– Сивка, Сивушка... – Тихонько бормоча, Антонина подвела коня к пеньку, встала на него и наконец забралась верхом. При этом она вспомнила легкость, с какой взлетел на спину Сивки Яноро, и даже оскалилась от злости.

– Ишь, вскочил, ровно на своего коня! – проворчала сердито, но конь недовольно ржанул, и Антонина спохватилась.

– Домой, Сивушка, домой, милый, – пропела она ласково и легонько тронула коня каблукми. Вспомнила о валявшейся на земле плетке, но возвращаться и поднимать ее не рискнула – похлопала коня по шее, направляя в объезд чужого овсянища⁷.

⁶ Уросить – применительно к лошадям: упрямитесь, показывать норы (*старш.*).

⁷ Овсянище – поле, засеянное овсом (*старш.*).

А вдруг и впрямь цыган не врал и Сивка может взбеситься? А что если он не врал и о Тодоре?

Нет, не может быть! Он врал, конечно, этот проклятый цыган! Ничего не станет спрашивать Антонина у деда!

Однако она уже знала, что не выдержит – и все-таки спросит... На миг сделалось страшно, словно неведомое будущее вдруг встало лицом к лицу с Антониной и насмешливо заглянуло в ее глаза. Но остановиться она уже не могла.

Глава вторая

Приметы няньки Дорофея

Дед, как назло, все никак не возвращался домой. Еще с утра уехал в Арзамас, на свой склад, куда должны были прислать из Нижнего новый товар. И вот уж вечер настал, а его нет и нет!

– Ну где он там запропастился?! – нетерпеливо шептала Антонина, когда и отобедали, и к ужину накрыли, а дед так и не появился.

– Угомонись, милая, – ласково увещевала Дорофея. – Погляди, какой калабан⁸ нынче выпекся: известное дело, коли часть отслоилась от каравая, кому-то поездки не миновать. Знать, Андрей Федорович уже в дороге!

– Если тебя послушать, у нас ежедень хлебы с такими горбами должны выпекаться, потому что Андрей Федорович ежедень в дороге, – огрызнулась Антонина, нетерпеливо взяв ножом по столу.

– Не балуй, нечистую силу навлечешь! – наставительно изрекла Дорофея и потянулась было забрать у девушки нож, однако Антонина отдернула руку:

– Вели мясо нести, я есть хочу! Не буду больше ждать!

Она перевернула каравай уродливой горбушкой вниз (смотреть противно!) и принялась резать хлеб.

– Поверни горбом кверху! – погрозила пальцем Дорофея. – Беду накличешь!

Антонина, неуступчиво сдвинув брови, продолжала кромсать хлеб. Нож противно скрипел в корке.

– Экий квёлый!⁹ – сморщила нос Антонина.

Ломти получались неровные, где толще, где тоньше.

– Коли неровно и трудно хлеб режешь, такова и жизнь у тебя будет неровная и трудная! – проворчала Дорофея, которая была набита приметам, словно подушка пером. Обычно приходилось выслушивать не меньше десятка предостережений подряд: дед только посмеивался и называл Дорофею бармой бесценной¹⁰, а Антонина пропускала воркотню няньки мимо ушей, ибо та по старости иногда завиралась, однако сейчас не выдержала и, отбросив нож, воскликнула:

– Хватит! Надоела!

Нож слетел со стола и вонзился в пол.

Дорофея громко ахнула и зажала рот рукой, оставив на Антонину вытаращенные глаза.

– Что еще? – рявкнула та.

Дорофея забормотала сквозь пальцы что-то невнятное, Антонина даже не сразу разобрала, что там пророчит нянька.

– Да ведь это к покойнику! Коли выпадет из рук нож, когда хлеб резали, да воткнется острием в пол, – жди покойника в доме!

Антонина вскочила, выдернула нож, застрявший острием между половицами, и, поигрывая им, выпалила угрожающе:

– Если не перестанешь попусту болтать, примета сбудется. И знаешь, кто будет этим покойником?..

Дорофея так и ахнула, так и замахала руками:

⁸ Калабан – хлеб (*старин.*).

⁹ Квёлый – здесь: непропеченный (*старин.*).

¹⁰ Барма бесценная – переносном смысле: болтуня бесполезная (*старин.*).

– Да ты что, Тонюшка? Не ума ли решилась? Ишь как глазами засверкала – ну точно цыганка! Вся в отца!

И снова зажала себе рот, и снова вытаращила глаза, и даже не обратила внимания, что нож вывалился из рук Антонины и опять вонзился в пол.

У девушки застучало в висках.

– Что ты сказала? – пробормотала она, не слыша собственного голоса из-за шума крови в ушах. – Что?!

Дорофея растерянно заморгала, заюлила глазами, забормотала:

– Да я что... да ничего... просто так... я и раньше говорила, что ты вся в отца, он такой же чернуший был да глазищами сверкал...

Да, она так говорила, правда. И дед говорил. Раньше Антонина не обратила бы никакого внимания на обмолвку Дорофеи насчет цыганки, но после утренней встречи, после того, что ей сказали Яноро и Флорика, все изменилось!

– Да разве ж Федор Иванович Коршунов, батюшка мой, был цыганом? – спросила Антонина как можно спокойнее, чтобы Дорофея тоже успокоилась.

– Каким цыганом, окстись, не болтай чего попало! – решительно махнула рукой Дорофея, но тотчас опять заюлила глазами, забормотала: – А может, и был, откуда мне знать, если я его никогда не видела?

– Как не видела? – насторожилась Антонина. – А на свадьбе? Ты же говорила, что с матушкой моей не расставалась никогда! Была сперва у нее горничной, а потом моей нянькой стала! Кто же ее к венцу прибирал, если не ты?

Лицо Дорофеи перекошилось, из глаз хлынули слезы:

– Отвяжись, Тонюшка! Не мучай ты меня! Лучше кого другого спроси!

– Другого? – возмущенно повторила Антонина. – Кого же другого мне прикажешь спрашивать, если и ты, и дед – оба рассказывали, что венчались отец с матерью не в Арзамасе, а в Нижнем Новгороде? Что отец оттуда на войну ушел, с которой так и не вернулся, а матушка родами умерла, после чего дед в Арзамас привез ее в гробу, а меня в корзинке плетеной? Кого мне спросить, если никто из наших арзамасских соседей на той свадьбе не был? В Нижний поехать? Там что-нибудь разузнать? Но у кого узнавать, если батюшка мой, Федор Иванович Коршунов, был круглым сиротой и ни одного родного человека у него не осталось? В этом и ты, и дед меня с самого детства уверяли...

– Да ведь у деда крестильная запись есть! – затравленно, исподлобья глядя на Антонину, выпалила Дорофея. – В ней сказано, что мать твоя – Глафира, в девичестве Гаврилова, дочь Андреева, отец – Федор Коршунов, сын Иванов, оба православные. А разве цыгане бывают православные? Все нехристи, все язычники!

– Запись-то есть, да ведь... да ведь крестили меня в Арзамасе, наш батюшка Иннокентий и крестил, – напряженно сузив глаза, пробормотала Антонина. – Ни матушки, ни отца при этом не было – ее уже схоронили, отец погиб... Отец Иннокентий записал все с дедовых слов, ему поверил! Они же с самого детства дружили, неразлейвода...

– Ты чего буровишь?! – возмутилась Дорофея. – Да неужто твой дед мог священнику солгать?

И отвела глаза так быстро, словно отдернула...

– Это не я сказала, – медленно проговорила Антонина, не отводя взгляда от заалевшего Дорофеино лица. – Это ты сказала.

– Чего, чего я сказала? – закудаhtала та, напряженно сводя брови.

– Ты сказала, что дед мог священнику солгать.

– Да нет же, я сказала, что он не мог! – всплеснула руками Дорофея.

– Конечно, не мог, – со спокойствием, которого не чувствовала, кивнула Антонина. – Зачем? Ведь все проверить можно. Небось в Нижнем, в храме Печерском, где отец с матушкой венчались, в церковной книге запись об этом венчании есть. Или... нет?

– Что значит – нет?! – взвилась Дорофея. – Ты чего на мать родную наговариваешь, на голубицу мою, на Глашеньку? Неужто она могла нагулять дитя невесть от кого, а Андрей Федорович ее грех ложью бы прикрывал?

Она багровела лицом, она кричала, она всплескивала руками... И это Дорофея, которая всегда говорила тихо-тихонько, опасаясь, что «люди¹¹ подслушают, а люди – первый враг господ»! Что и говорить, к прислуге домашней Дорофея относилась недоверчиво, сплетен, которые могут от слуг исходить, боялась как огня – и вдруг словно забыла обо всех тех ушах, которые сейчас настороженно ловят каждое ее слово. Забыла, забыла, совершенно власть над собой потеряла – до того встревожилась, до того старается убедить Антонину, будто о цыганочке всего лишь обмолвилась, будто эти ее слова не значат ничего! Однако чем больше она старается, тем сильнее щемит у Антонины сердце...

Слова Яноро оказались камнем, который был брошен в тихий пруд ее спокойной жизни. Кто знает, может быть, круги разошлись бы, снова воцарились бы тишь да гладь, но обмолвка Дорофеи еще сильнее взбаламутила воду. Поднялись волны, которые уже подмывают берега! Что еще брякнет Дорофея? Что еще пугающе-неожиданного о себе и своих родителях узнает Антонина?

А если и ей самой бросить камень в тот же разволновавшийся пруд? Что если назвать сейчас имя баро Годора? Может быть, не только дед, но и Дорофея знает, кто он такой и какое имеет к ней отношение?..

Ох, как страшно, как стынут руки, язык немеет... Однако не такова Антонина, чтобы бежать от опасности! На Сивке мчится, не разбирая дороги, бесстрашно – и сейчас дерзко бросится вперед, навстречу неизвестности!

– А скажи, Дорофея, знаешь ли ты, кто такой...

Она не договорила – вдруг заголосили во дворе бабы, потом с грохотом распахнулась дверь в столовую комнату – и на пороге вырос Никодим, кучер дедов.

Антонина и Дорофея замерли, в ужасе уставившись на кучера, всегда такого спокойного, благообразного, важного. А сейчас каков он?! Весь в пыли да грязи, волосы всклокочены, рубаха в кровище, глаза блуждают, борода трясется, словно у Никодима зуб на зуб не попадает. Еле стоит, вцепившись в дверной косяк...

Да что это с ним?!

Они не успели спросить: Никодим вдруг рухнул на колени, ударился головой об пол и завыл:

– Прости, голубушка, Антонина Федоровна, не уберег я нашего хозяина, не уберег...

– Что с дедом? – вскричала Антонина. – Где он?

– Убился! Убился чрез волшебную порчу, чрез того проклятущего цыгана! – прорыдал Никодим, не поднимая головы.

Дорофея коротко взвыла, но Антонина сильно топнула, и нянька замолкла. Девушка прыгнула вперед, схватила Никодима за волосы и рывком подняла его голову:

– Что ты сказал?! Про какого цыгана речь? Говори!

Никодим залился слезами и кое-как, с запинками, начал рассказывать:

– Со счетами Андрей Федорович покончил и заспешил домой. Допрежь такой осторожный был, все меня осаживал, когда я начинал гнать, а тут как подменили его. Проголодался, говорит, я, так что поспешай, Никодимка! И все понукал: шибче да шибче, экий ты, говорит, телятник, экий лентяй! Ну я как присвистнул – пошел было наш Силач, да вдруг замер как

¹¹ Люди – здесь: слуги.

вкопанный. Мы с Андреем Федоровичем насилу в возке удержались! Я коня и так, и эдак, и по матушке, и по батюшке... нет, стоит неподвижно! Вдруг слышу – хохочет рядом кто-то, аж закатывается. Глянул – а там цыган молодой. Сам в какое-то отрепье одет, а на шее, да на пальцах, да в ушах золота небось полпуда! Я Силача охаживаю плетью, аж криком кричу, а он не шелохнется, только пена с него ключьями летит. Я цыгану: «Пошел вон, колдун чертов!» – а он опять ржет во всю глотку. Потом пальцами шелкнул и говорит, уставивши на Андрея Федоровича свои глазищи чернющие, бесовские: «Ладно, поезжай, господарь, да только не забудь внучке про баро Тодора рассказать!» И пошел восвояси. Я ему вслед: «Чего ты тут чиликаешь, язва бы ты расшибла?!» А он и не оглянулся. Я на хозяина покосился, а тот сидит белый весь, как стенка беленая, да крестом себя осеняет. Потом прохрипел: «Поехали!» Я Силача ни вожжами не дернул, ни кнутом не тронул, ни криком на него не кричал, а он вдруг ка-ак рванул с места, во всю прыть понесся, словно над землей полетел! А Андрей Федорович все на того клятого цыгана оглядывался – ну и не удержался на выносе...¹² И не больно круто поворотили, а хозяину хватило. Я пока остановил Силача, пока выскочил – а Андрей Федорович уж мертвый лежит, да в кровище весь...

Дорофея схватила Антонину за руку, пальцем показала на пол, где между половицами торчал нож.

– Вот и покойник! – хрипло крикнула она да и рухнула без памяти.

¹² Навыносе – на крутом повороте, когда повозку заносит (*старин.*).

Глава третья Глашенька

Жизнь изменилась враз, будто черным платком кто махнул. Был у Антонины дед – единственный родной человек! – и не стало его. Была нянька Дорофея – выросла Антонина на ее руках! – и той не стало. Не пережила Дорофея гибели хозяина – умерла, лишь час пролежав в беспомысленности. И как ни была Антонина потрясена, как ни хотелось ей криком кричать, рыдать и головой о стену биться, а делать нечего – ей самой пришлось и священника с дьячком звать, чтобы читали над покойными отходные молитвы, и службы поминальные заказывать, и на кладбище посылать с приказом выкопать две могилы в их семейном углу кладбища (верную Дорофею решила Антонина похоронить рядом с дедом, покойной бабкой, которой не помнила, и матерью, которой вовсе не знала), отдавать прислуге наказы, чтобы готовили поминки – отдельно для господ и знатных арзамасцев, отдельно для всей дворни и горожан званием попроще, которые тоже захотят выпить на помин души честного купца Федора Андреевича Гаврилова...

Лишь к полуночи все дела были поделаны. Антонина, едва живая от усталости, поднялась в свою светелку и упала на постель. Она была так занята и так потрясена весь этот вечер, что даже не плакала, запрещая себе предаться горю, и вот сейчас, наконец, оказалась с ним наедине, лицом к лицу. Слезы подступили к глазам, и девушка зарыдала, однако тут же уткнулась в подушку: стало стыдно, что кто-то услышит ее громкие всхлипывания. Ведь все равно никто не придет утешать – некому! Не прислуге же утирать слезы хозяйкины!

«Что же мне теперь делать? – в отчаянии думала Антонина. – Как же я буду жить – одна-одинешенька? Как со слугами и с товаром управлюсь?!»

Но время шло, ночь шла, и постепенно Антонина начала свыкаться со своим горем. «Ладно, в лавке приказчики помогут, а со слугами уж сама как-нибудь... дело житейское! Потом замуж выйду, муж будет вместе со мной с торговлей управляться... я ведь богатая невеста, со знатным приданым, ко мне женихи ломиться в двери станут!»

Жизнь уже не казалась такой печальной и безысходной. «Выберу среди всех женихов наилучшего! – самодовольно подумала Антонина, однако тут же и опечалилась опять: – Одна беда – муж всю власть и все богатство себе заберет, а мне только и останется, что его ублажать да детей рожать, как все прочие бабы замужние. Эх, хорошо графинюшке: она вдова, сама себе госпожа, сын у нее по струнке ходит. Вот бы и у меня так было!»

Однако для того, чтобы овдоветь и заставить сына ходить по струнке, надо было сначала все же выйти замуж и ребенка родить. Это Антонина прекрасно понимала. Но замуж-то выйти – за кого?.. Ей уже восемнадцатый год, однако за нее никто еще не сватался. Конечно, Антонина непомерно задирала нос и держалась в стороне от арзамасской молодежи. Ни на посиделки, ни на гулянки носа не казала! Видела она своих ровесников только на церковных службах. К тому же дедов дом находился в часе езды от города. Сам Андрей Федорович навещался на склады, а Антонине там что делать было? Она предпочитала гонять верхом по полям-лесам, или болтать с прислугой, или шить-вышивать, или учиться грамоте и разным книжным премудростям, как велела графиня Стрешнева.

Елизавета Львовна несколько дней назад приехала в Арзамас к теткам, но Антонина еще не видела ее. Ох, а что же теперь делать с надеждами, которые девушка возлагала на свою покровительницу? Поездка в Москву или жизнь в богатом Стрешневе, знакомство с блестящим молодым графом Михаилом, который непременно приедет из Петрограда навестить мать, и прочие тайные мечты, которым она предавалась с таким упоением...

Неужели со всем этим придется проститься?! Ведь теперь жизнь ее навсегда будет связана с Арзамасом, здесь ей придется остаться!

«А почему проститься? – вдруг подумала Антонина. – Почему навсегда остаться в Арзамасе? Елизавета Львовна частенько жаловалась, что сын ее, граф Михаил, изменился: сделался в Петербурге мотом, картежником, транжирой, что о Стрешневке он позабыл, все о городских развлечениях думает, а в поместье иногда денег на первоочередные нужды не хватает. Как-то проговорилась, что все ее богатое приданое муж начал расточать, а Михаил и вовсе к концу сводит. А что если... Ведь у меня теперь тоже богатое приданое... Моих денег на многое бы хватило!»

От смелых мечтаний бросило в жар! Антонина соскочила с постели, устала в окно. Луна сияла в темном небе, заливая округу голубоватым призрачным светом: словно сияющей кисеей завесила сад, и поля, и дальний лес. Каждый листок старой березы, росшей почти вплотную к стене дома, казался вылитым из слабо звенящего серебра. А озеро, лежащее неподалеку от леса, блестело остро, режуще, словно осколок огромного зеркала, упавший с неба...

Прохладный ночной ветерок заставил Антонину задрожать, однако не охладил ее воспаленных мечтаний. Она подошла к зеркалу, висевшему на стене. Комната была залита лунным светом, Антонина все ясно видела.

Ах, какая красавица смотрела на нее из тяжелой дубовой рамы! Какие глаза... черны как ночь! И как в ночи не разглядишь ничего, так не увидишь, что таится в глубине этих глаз, какая тьма жадных желаний клубится там!

– Я красива... – пробормотала Антонина, словно впервые увидев себя, хотя и прежде именно сознание собственной красоты заставляло ее с пренебрежением смотреть на молодых арзамасцев. – Я так красива, что граф Михаил Иванович должен, должен будет...

Странный звук заставил ее вздрогнуть. словно бы ударились что-то об оконную раму. И еще раз ударились, а потом на пол упало – да ведь это камушек! Вон валяется. Кто-то бросает камушки в окно. Кто?

Антонина подскочила к подоконнику, перевесилась через него – и увидела стоящую внизу девушку. Бледное в лунном свете лицо, черные глаза, черные кудри, накрытые алым платком... Это Флорика! Цыганка Флорика!

Сердце так и зашлось.

– Ты? – прошипела Антонина. – Что, и Яноро здесь? Из-за вас мой дед погиб – теперь сюда приперлись?! Ну так вам несдобровать!

Она уже открыла рот, чтобы позвать людей, однако крик комом замер в горле. Не то что не крикнуть или хотя бы шепнуть – ни вздохнуть Антонине, ни охнуть!

Вспомнилось – что-то подобное она почувствовала, когда вздумала замахнуться на Янору плетью. Флорика, это Флорика ворожит – колдунья бесова! Сначала цыганское колдовство извело деда, теперь до Антонины добралось.

Она того и гляди умрет от удушья, умрет!

Чего им, этим нехристям, надо от ее семьи? Что за прок им в смерти Андрея Федоровича Гаврилова и Антонины Коршуновой, его внуки и... И наследницы его состояния, между прочим! Может быть, не столь уж великое богатство, чтобы пуды золота на себя навесить, да ведь это с какой стороны посмотреть. Всякое дело, в том числе и торговое, можно и погубить, и преумножить. Можно по миру пойти, а можно и еще пуще разбогатеть.

Кто унаследует склады и товар деда после его смерти? Антонина. Кто унаследует все это после ее смерти? Да кто ж другой, как не ее единокровный брат Яноро! Этот цыган! Это жалкий бродяга!

Да нет, не может того быть! Неправда это!

А если... правда?

– Обещаешь молчать? – донесся до нее тихий голос Флорика. – Я должна тебе кое-что рассказать. Крик не поднимешь?

Антонина кивнула, мучимая одним желанием – наконец-то вздохнуть.

– Побожись! – потребовала неумолимая цыганка.

Антонина торопливо обмахнулась крестом, и Флорика, проворно заткнув подол под кушак, чтобы не путался в ногах, взобралась по березе с кошачьей ловкостью и мягко, тоже по-кошачьи, перебралась на подоконник, а потом спрыгнула на пол светелки. Одернула подол, устремила немигающий взор в глаза Антонины, сделала около ее горла стремительное движение пальцами, словно пыталась выдернуть что-то, – и та наконец-то перевела дух.

– Ведьма, ведьма... – прохрипела она, однако Флорика только усмехнулась:

– А ты сама кто такая? В ночи, небось, видишь как днем? А думаешь, на это одни только кошки способны? Не-ет, это в тебе цыганская кровь играет! Ты такая же, как мы: кого любишь, жизни для того не пожалеешь, а кого возненавидишь, того со свету сживешь! Благодарите вашего бога распятого, что не знаешь своей силы, не то...

– Что не то? – жадно спросила Антонина, мгновенно забыв о страхе и чувствуя нетерпеливую дрожь, которая охватила тело: да неужто и ей подвластны какие-то силы, которыми владеют только ведьмы и колдуны?! Конечно, это грех, конечно, богобоязненному человеку о таком и думать нельзя, а между тем не справиться ей с жадой обладать даром неведомым, хоть и пугающим!..

– Не затем я сюда пришла, – отмахнулась Флорика, – чтобы о нашей схожести говорить, а затем пришла, чтобы рассказать, как все вышло. Грыжица... горе! Поверь, Яноро не хотел смерти твоего деда! Он про Тодора просто так крикнул, из озорства. Он не злодей! С ним часто такое бывает: по жизни несется, не разбирая дороги, не ведая, что впереди обрыв, в который и сам сорвется, и коня загубит... а заодно снесет того, кто невзначай на пути окажется. Он меня послал прощения у тебя просить!

– А у самого поджилки затряслись, что ли? – с презрением бросила Антонина.

– Его не страх, а стыд не пускает, – вздохнула Флорика. – Нрав горячий, гнев его долго кипит... у других знаешь как? Вспыхнет злое пламя, да вскоре и погаснет, чтобы жить не мешало, а Яноро сушняк в тот костер сам подбрасывает и его жаром наслаждается. Хоть и люблю Яноро безумно всю жизнь, сколько себя помню, а все же боюсь его иногда. Когда укоряю его, он меня вроде слушается, но со своей натурой не всегда может сладить. Вот и к тебе пристал в лесу, а потом деду твоему крикнул про баро Тодора. И что с того вышло?! Байо мингэ, ромалэ!¹³

– Ты говоришь, Яноро злопамятный, – недоумевающе нахмурилась Антонина. – Но чем я перед ним провинилась, если я его впервые в жизни сегодня увидела? А мой дед чем перед ним виноват?!

Флорика опустила голову и пробормотала:

– Не вы виновны. Яноро простить не может Глашеньке, твоей матери, что из-за нее баро Тодор свою жену, мать Яноро, покинул! Пусть и вернулся к ней потом, а все же любовь к Глашеньке до смерти Тодора довела, да и ей счастья не принесла. Вот разве что тебя родила, только ведь это кому на счастье, а кому на беду...

– Глашенька – это моя мать? – тупо спросила Антонина.

– Да.

– А как же... как же мой отец – Федор Иванович Коршунов?!

– Ничего о нем не знаю! Знаю точно, что твой отец – баро Тодор, – твердо сказала Флорика.

¹³ Беда мне, цыгане! (цыган. поговорка).

– Да откуда тебе это известно?! – отчаянно воскликнула Антонина, всплеснув руками. – Откуда?! Ты девчонка совсем, ты от Яноро этого без ума, сама призналась. Ты с его голоса поешь!

– Эх, Антонина, – тяжело вздохнула Флорика, – ни с чьего голоса я не пою. Эту историю рассказала мне моя мать, Донка. А она была рядом с Глашенькой весь год, что та в таборе прожила. Донка ей разродиться помогла, тебя приняла, а потом Глашеньке глаза закрыла...

– Что? – слабо выдохнула Антонина. – Не может быть! Не верю!

– А вот послушай-ка эту историю, а потом и решай, верить или нет!

... Матушкой Антонины была честная дочь купеческая, родом из Арзамаса. Глафирой звали ее – Глашенькой. Росла она послушной, тихой да скромной, но в тихом омуте, известное дело, черти водятся. Стал как-то раз под Арзамасом табор – и сманил девку из дому веселый красавец-цыган. Испокон веков такое приключалось, песен об этом немало сложено – и здесь то же содеялось. И настолько Глашеньке полюбился Тодор, что нипочем не пожелала она домой вернуться – так и ушла с табором. Матери у девки давно не было, а отец ее в ту пору отлучался по делам своим по купеческим. Нянька же не уследила...

Воротился отец, бросился искать дочку – да где! На месте табора только кострище осталось, а Глашенькин след уж травой порос.

Андрей Федорович вернулся в Арзамас и всем рассказал, что дочь уехала в Вад – небольшое село в тридцати верстах, где жила сестра купца Гаврилова Ольга, в замужестве Кулагина. На молчание сестры Андрей Федорович надеялся – а сам надеялся, что Глашенька рано или поздно вернется.

Однако пришлось по сердцу Глашеньке кочевая жизнь, по сердцу пришлось вольная любовь. Одно неладно: у Тодора уже была в таборе жена и сын был. Совсем младенчик! Яноро звали его, и Талэйта, его мать, была, словно дикая роза, прекрасна и, будто колючки ее, зла. Она крепко любила Тодора. А цыганская любовь – это огонь, это яд медленный! Лишь увидела Талэйта свою соперницу, белолицую, русоволосую да сероглазую, как дала слово извести ее.

Цыганки – они все ворожеи... Опоила Талэйта злыми зельями Тодора, чтобы отвести его сердце от молоденькой русской девушки, которая ни спеть, ни сплясать, ни приласкать жарко не могла. Вновь присушила Талэйта к себе Тодора, да так, что он и видеть Глашеньку более не хотел. А она ходила уже чреватая...

Что было ей делать? К отцу воротиться? Страшилась его гнева праведного. Пришлось тащиться за табором, подобно жалкой собачонке.

Иной раз у Глашеньки и укруга¹⁴ хлебного не было, и лохмотья не на что сменить. Однако по-прежнему любила она Тодора и лелеяла мечту вернуть его любовь.

Но зря, зря – все ее надежды были напрасны! У цыган чужаков не больно жалуют, так что несладко приходилось Глашеньке. А Талэйта знай поила Тодора своими зельями, чтобы он даже имя русской разлучницы забыл! Тодор ожесточился сердцем к Глашеньке, а коли был он баро, таборным вожаком, так ему и другие подражали. Оставалась лишь одна молоденькая цыганка, которая осмеливалась жалеть Глашеньку. Звали ее Донка...

Прошло время. Табор вновь вернулся к Арзамасу. Баро крутился вокруг императорского конного завода, чтобы увести оттуда лучших скакунов, да никак не мог найти к ним подступа.

Тем временем Талэйта уверилась, что окончательно вернула себе любовь Тодора, и перестала дурманить его травяными отварами. Однако стоило ему избавиться от приворота, как снова обратилось его сердце к Глашеньке. Сначала стало ему жаль измученную бедняжку, которая носит его ребенка, а потом осознал он, какое зло причинил невинной девушке, как изломал ее судьбу, и горько раскаялся в этом.

¹⁴ Укру́г – ломоть (устар.).

Заметила Талэйта, что Тодор закручинился, что охладел к ней, что начал с Глашенькой ласково говорить, и спохватилась. Решила дать мужу такое сильное зелье, чтобы навсегда поселилась в его сердце ненависть к русской приبلудной девке! Однако от этого питья Тодору, который был уже и так отравлен, стало совсем худо. Бросилась ему в голову кровь, упал он без памяти, да через несколько часов и умер. Однако о том, что натворила Талэйта, никто не знал, кроме Донки...

Талэйта очень хотела отвести от себя вину. Она попыталась Глашеньку обвинить в том, что та отравила Тодора, и стала подговаривать цыган убить бедняжку. Кто знает, может быть, это ей и удалось бы сделать, однако, когда Глашенька узнала, что Тодор умер, у нее приступили роды. Приступили они раньше времени. Никто ее не тронул, но и помогать никто не стал, никто и не думал облегчить ее страдания!

Только Донка не покинула бедняжку. Когда стемнело, она запрягла коня, постелила в телегу попону, уложила туда Глашеньку и погнала свою повозку к Арзамасу.

От стоянки табора до Арзамаса вроде бы и недалеко было, но не когда одна слабая женщина в одиночку везет другую, да еще ночью, да еще готовую разрешиться от бремени! Страшно было Донке думать о встрече с Глашенькиным отцом, страшно и в табор потом возвращаться, но жалостливое и доброе было у молодой цыганки сердце – его повелением она и жила на свете.

Разразилась гроза, и Донка, с пути сбившись, заехала на болотину. Тут-то и начались роды у Глашеньки. И неведомо, чем бы дело кончилось, когда б внезапно не появился верховой. То был молодой цыган Эуген, любивший Донку. Хватился он своей милушки и, догадавшись о ее затее, пустился вслед – ей на помощь. И пока Донка впервые в жизни неумелыми руками принимала ребенка, девочку, Эуген тащил из болота коня и повозку.

Дальше везти Глашеньку было опасно – она могла умереть в любую минуту. Тогда Эуген под покровом ночи поскакал к ее отцу и все ему рассказал.

Федор Андреевич оседлал коня и помчался вслед за цыганом. Он еще успел застать Глашеньку в живых, она еще успела попросить у него прощения и молить смилостивиться над новорожденной дочкой, прежде чем умерла...

Флорика вздохнула, с жалостью глядя на онемевшую Антонину:

– Твой дед взял с Донки слово, что она никому не обмолвится о случившемся, наградил ее щедро и отпустил восвояси. Теперь вся его жизнь была посвящена только тебе.

Антонина не шелохнулась.

«Наверное, дед сначала отвез меня в Вад. К бабке Ольге. Она умерла три года назад, и сын умер, и сноха... Внук ее, конечно, ни о чем знать не знает. Спросить некого, но, конечно, так все и было. А уже потом дед вернулся в Арзамас и придумал эту историю про Федора Ивановича Коршунова и про свадьбу матушки аж в Нижнем Новгороде. Федор – это ведь то же самое, что по-цыгански Тодор! И отца Иннокентия вокруг пальца дед обвел, налгав ему, что Глашенька была с этим Федором Коршуновым обвенчана. А может быть, отец Иннокентий правду знал и совершил великий грех, потому что был другом деда? Нет, не мог он на такое пойти! – решительно качнула головой Антонина. – Няньке Дорофее все было известно, конечно, и она молчала всю жизнь! А графиня Стрешнева? Догадывалась ли она о том, что дочка ее покойной подруги незаконнорожденная? Как мне завтра в глаза ей смотреть?..»

Антонина испуганно перевела дух, заломила руки, но тотчас нахмурилась решительно: «Ничего! Раньше смотрела – и завтра посмотрю. Буду молчать о том, что знаю: так же, как дед молчал, так же, как молчала Дорофеева! Коль станет известно, что я незаконная, ждет меня только позор! И память деда будет оскорблена навеки, и память моей матери... Я этого не допущу!»

Чья-то рука коснулась руки Антонины, и она испуганно вскинула голову. Флорика сочувственно смотрела в ее лицо.

– Мне пора идти, – шепнула молодая цыганка. – Надо успеть до утра в табор вернуться – с рассветом мы трогаемся в путь. Когда судьба нас снова сведет, все силы положу, чтобы тебе помочь! А пока прости за все...

Антонина ничего не ответила: закрыла глаза руками и не отняла их до тех пор, пока не почувствовала, что осталась в светелке одна.

Когда она опустила ладони, глаза ее были сухими. Она не проронила ни слезинки, а закрывала лицо только потому, что боялась: вдруг не сможет скрыть от пронизательной цыганки ту ненависть, которая прожигала ей душу.

Простить?! Никогда Антонина не простит ни Яноро, убившего ее деда, ни Флорику, которая открыла ей страшную правду. Сейчас она готова была отдать все на свете, чтобы отомстить молодым цыганам. Антонина не знала, как и когда, но не сомневалась, что рано или поздно сделает это.

Она, сердито нахмурясь, захлопнула окно, через которое к ней забралась Флорика, и ставни затворила, чтобы не мешала луна.

На душе стало немного легче. А теперь надо уснуть. Надо уснуть во что бы то ни стало, чтобы завтра же приступить к управлению тем богатством, которое досталось ей в наследство! Ей одной!

Ах да, еще похороны надо отвести, вспомнила Антонина, упав на постель и закрыв глаза, но сердце ее уже не болело от жалости к деду, от тоски по Дорофее. Она ощущала только досаду: сколько хлопот с похоронами ее ждет! Двое самых близких людей лгали ей всю жизнь, и, хоть это была ложь во спасение, Антонина не чувствовала сейчас никакой благодарности к ним.

Уже засыпая, она снова вспомнила внука дедовой сестры, который жил в Работках. Может быть, дать ему знать о смерти Федора Андреевича? А впрочем, зачем? За все семнадцать с лишком лет жизни она его не видела и не знала о нем ровно ничего. С чего же вдруг начинать родниться? Еще не хватало! А вот с графиней Стрешневой повидаться стоит, да чем скорей, тем лучше...

Она решила сделать это утром – как можно раньше. Однако человек предполагает, а Бог располагает... и не всегда в пользу этого человека!

Глава пятая

Наследство купца Гаврилова

– А ну, пропусти меня во двор, сволочь! Погоди, я тебе еще покажу, кто здесь хозяин! Ужо погуляет мой кнут по твоей спине! Отворяй ворота!

Антонина всполошенно вскинула голову. Сон ее был полон жуткими образами, которые явились из рассказа Флорики: цыгане с перекошенными, ненавидящими лицами кричали Глашеньке: «Пошла вон из табора! Мы здесь хозяева!» Во сне Антонина словно бы превращалась в свою многострадальную мать, и эти грубые крики были обращены к ней, эти рожи смотрели на нее, эти злобные твари гнали прочь ее. И сейчас она никак не могла понять, проснулась или нет, со сне находится или вернулась к яви.

Наконец сообразила: она лежит в своей светелке, на своей постели, никаких цыган рядом нет, – однако крик не утихает. И свист какой-то странный раздается... Что за птицы налетели?!

Антонина подхватила и бросилась к окну – не к тому, которое выходило в сад и которое она закрыла накрепко, а к тому, которое смотрело во двор, – и увидела прислугу, собравшуюся у ворот и безуспешно пытающуюся преградить путь крепкой тройке, которой управлял какой-то рыжий молодой мужик в запыленной косоворотке распояскою. Он и в самом деле грозно взмахивал кнутом, который со свистом рассекал воздух. Неудивительно, что и сторожа, и привратник, и прочие слуги боялись к нему подступиться!

– Кто такой? Чего надо?! – сердито крикнула Антонина из окна, забыв, что не причесана и не одета: стоит в одной сорочке, с распущенной косой...

Незнакомец вскинул на нее маленькие карие глазки:

– Ты еще здесь? А ну, выметайся вон! Больше тебе тут делать нечего! Теперь это мой дом! И все это, – он обвел кнутовищем двор, – и это, – незнакомец резко мотнул головой куда-то в сторону Арзамаса, – тоже мое!

– А не лопнешь ли ты, добрый человек? – презрительно воскликнула Антонина. – Неужто весь Арзамас твой?

– Арзамас, может, пока и не мой, – ухмыльнулся незнакомец щербатым ртом, – а вот все лабазы¹⁵ гавриловские отныне мои! И этот дом с подворьем и огородами – тоже, так что давай, сеструха-воструха, выметайся отсюда вон!

– Сеструха? – изумленно повторила Антонина, ниже перегибаясь через подоконник и вглядываясь в покрытую потом и пылью неприглядную личность. – Да кто ж ты такой, что ко мне в родню набиваешься?

– Больно надо с тобой, незаконнорожденною, родниться! – хмыкнул незнакомец. – Не зря я тебя вострухой назвал: примазалась к нашему имени, живешь как сыр в масле катаешься, да только кончилась твоя спорынья!¹⁶ Пока дед Федор был жив, оно, конечно, все его волею шло, а теперь, когда он дуба врезал, тебе тут больше делать нечего. По закону нынче все мое! Я всего добра наследник!

– Да кто ты таков?! – вскричала ошеломленная Антонина, а в ответ услышала:

– Я – Петруха Кулагин, внук Ольги Кулагиной, в девичестве Гавриловой, вот кто я таков! Бабка да родители померли, я один маялся, с квасу на хлеб перебивался, но теперь мой час настал всем тут володеть как законному наследнику! Знакомец мой минувшим вечером воротился в Вад с известием, что купец Гаврилов окочурился, ну я и запрягать, я и гнать... Своего не упусти, даже не надейся!

¹⁵ Лабаз – склад (*старин.*).

¹⁶ Спорынья, спорына – удача (*старин.*).

Антонина таращилась на его воинственную фигуру, на чванливую физиономию и никак не могла взять в толк, что происходит. Мелькнула было успокоительная мысль, что этот человек все же не в себе, тронулся умом, вот и задорит¹⁷ ее попусту, но тут же ожгло воспоминанием: он Кулагин, тот самый внук дедовой сестры! Он назвал ее незаконнорожденной... Он знает тайну появления на свет внучки купца Гаврилова!

Силы как-то враз кончились. Антонина увидела, с каким жадным любопытством, с каким недоверием таращится на нее прислуга, как опасно отводит глаза. Люди простодушны: они уже не видят в ней хозяйку, они уже готовы поверить любому наговору! Но самое страшное, что это ведь не пустой наговор... это правда.

Она поникла на подоконник почти в беспамятстве от ужаса, но тут же вскинулась: правда?! Еще неизвестно, правда ли! Мало ли что кричит этот паршивец! У отца Иннокентия есть запись о ее крещении, где названы ее отец и мать! Все вранье, это все вранье, что наболтала ночью Флорика! Как можно было в это поверить?! И этот родственничек, невесть с каких небес свалившийся, врет! Что за глупости, зачем только Антонина его слушает? Кто его ведает, может быть, он с цыганами в стоворе, может быть, они вместе к гавриловскому добру руки загребущие тянут? Поди знай, в самом деле он внук бабки Ольги или ворюга бродячий?

Силы вернулись, Антонина приободрилась, даже стыдно стало, что на какой-то миг показала свою слабость, свой страх перед этим наглым губошлепом, который назвался Петрухой Кулагиным.

– Ты, погляжу, горазд языком трепать! – крикнула девушка так яростно, что удивилась, как это залетный пустобрех не рухнул с облучка своей телеги замертво. – Что-то раньше про тебя слухом не слыхать было, и дед мне ни словом про тебя не обмолвился. Мало ли с какой большой дороги ты явился, мало ли каким шалым ветром тебя сюда занесло, мало ли какие бредни у тебя в котелке сварились! – Она с издевкой покрутила рукой вокруг головы. – По тебе сразу видно, что без роду без племени, а ты приперся сюда, позоришь меня подло и бесчинно!

Наглец, впрочем, выслушал ее довольно спокойно и ухмыльнулся с не меньшей издевкой, чем Антонина.

– Ишь, застрекотала, сорока! – пренебрежительно махнул он рукой. – Погляди, кто со мной приехал, а потом верещи. Покажись, отец Феофилакт!

Что-то зашевелилось в телеге, и Антонина только сейчас разглядела съездившегося за спиной возницы черноризника. Впрочем, немудрено, что не заметила его доселе: был он настолько мал, худ, да еще дорожной пылью припорошен, что больше напоминал кучку невзрачного тряпья, а не священника.

– Отец Феофилакт бабку Ольгу перед кончиной исповедовал! – выкрикнул Петруха. – И она ему все рассказала про то, как твоя мать с цыганом якшалась да тебя в грязном подоле принесла!

– Язва бы тебя расшибла, лихоманка разобрала! – закричала Антонина себя не помня, теряя рассудок от злости. – А ну пошли сей же час к отцу Иннокентию! Уж он меня с рождения знает и скажет и тебе, и этому сморчку, которого ты приволок к себе в заступники, что я законная внучка своего деда и всему его наследству теперь хозяйка!

– А пошли! – ухмыльнулся Петруха, и Антонина, едва дав себе труд натянуть сарафан, сунуть ноги в сапожки да накинуть на голову платок, ринулась из светелки. Она скатилась по лестнице, даже не подозревая, что подняться по этим ступенькам ей уже не придется в этот день и в светелку свою, да и вообще в этот дом, она сегодня не вернется.

А когда вернется? Неведомо!

¹⁷ Задбрит – здесь: дразнит (*старин.*).

Глава шестая

Встреча на постоялом дворе

Несколько дней стояла невыносимая духота, все вокруг, чудилось, завешено блекло-желтой пыльной завесой, но после утренней грозы воздух освежился, жухлая трава позеленела, каждый древесный лист влаге радовался – так и блестел! – и цветы засияли по обочинам, а прежде их даже видно не было. Однако мало кто из сидевших в тарантасе, который тащился от Владимира до Москвы, радовался воцарившейся вокруг красоте, потому что дорога, прежде хоть пыльная, но плотно убитая колесами и копытами, теперь превратилась в почти непролазное болото. Еле выбравшись из вязких муромских песков, попали в глинистые разливы, и лошади тащили тарантас графини Стрешневой уже из последних сил, а кучер Серёнька не единожды уныло возмущался, дескать, трое суток, никак не меньше, придется конягам передышки давать на ближнем съезде дворе, иначе не стронутся они с места, и неведомо вообще, дотянут ли до этого двора. Ныл он до тех пор, пока графине это не надоело и она не послала горничную свою Агафью сказать Серёньке, что ежели он не прекратит, то она, графиня, наймет в первой же деревне вольного ямщика с его лошадьми, которых и впрягут в тарантас, а Серёньку оставит, и тогда ему придется одному гнать трех графских лошадей в Стрешневку – и пусть как хочет, так и исхитряется.

Кучер немедля онемел, и Агафья с довольным видом – справно волю госпожи исполнила! – снова забралась в тарантас, где заняла свое место на одном из тюфяков, разбросанных по днищу повозки, чтобы путешественницам легче было дорогу переносить.

Сам тарантас представлял собой что-то вроде большой парусиновой корзины, укрепленной на двух поперечных осях, снабженных громадными колесами, отчего «корзина» эта непомерно возвышалась над землей, и выбраться из нее, а также в нее взобраться было непросто. Зато тарантас не полз брюхом по земле, не собирал на себя грязищу! По углам, к особым петлям, пришитым к стенам, были привязаны дорожные мешки и узлы с припасом, а также самовар, чайник и ведро, а все остальное место занимали тюфяки, перины и подушки, ибо иначе как лежа путешествовать в этом сооружении было невозможно.

– В карете сидеть – это если в Москве с улицы на улицу переехать, – объяснила Агафья, еще когда показывала Антонине внутренность тарантаса. – А в долгом пути не выдержать сидючи, тут уж лучше лечь да лежать всю дорогу. И тряски никакой, и косточки не болят.

Эти речения, однако, Антонине в одно ухо влетели, а в другое вылетели. В первые дни путешествия она едва-едва находила в себе силы, чтобы произносить какие-то обязательные слова и совершать обязательные действия. Агафья и сама графиня подсказывали ей, где сесть, как лечь поудобнее, куда идти, чего поесть на привале или в избе станционного смотрителя. Антонина находилась словно во сне... в страшном сне!

Ах, как было бы хорошо, если бы и в самом деле все ей приснилось, начиная с внезапной встречи с цыганами в лесу и кончая отъездом из Арзамаса! И смерти деда и Дорофееи приснились бы, и ночной рассказ Флорики, и утреннее явление под окошком Петрухи Кулагина с припорошенным пылью вадским попиком Феофилактом за спиной, а самое главное и самое страшное – последовавший затем разговор с отцом Иннокентием...

Сначала Антонина надеялась на него и почти не сомневалась, что Кулагина с Феофилактом удастся посрамить. Лишь только вадский попик обмолвился о том, что узнал от умирающей Ольги Андреевны Кулагиной, как отец Иннокентий обрушился на него всей мощью своего громогласия и внушительной осанки, грозя предать анафеме за то, что выдал тайну исповеди, и

какой – предсмертной! Феофилакт от этого крика до того приуhaustнулся, что Антонина непременно пожалела бы его, кабы не была так зла.

Однако Петрухе все эти угрозы были как с гуся вода, и мало того – лишь прибавили ему еще задору, потому что, нимало не смутившись, он заявил, что тайну предсмертной исповеди выдавать, конечно, негоже, но разве не хуже этого настоятелю церкви делать подложные записи в крестильной книге по просьбе своего старинного приятеля и исправного жертвователя на храмовые нужды? И не следует ли эти его жертвования расценивать как мздоимства ради покрытия темных, противозаконных делишек?

При этих словах Антонина жадно уставилась на отца Иннокентия в надежде, что он немедленно проклянет клеветника. И тот был, конечно, к этому уже готов, судя по тому, как покраснел от ярости... Однако Петрухе Кулагину, по всему видно, сам черт был не брат, и он с прежней запальчивостью выкрикнул, что ежели отец Иннокентий покажет ему запись о венчании девицы Глафиры Гавриловой и военного человека Федора Коршунова (а коли такая запись может быть найдена только в Нижнем Новгороде, то хоть побойится в том, что видел ее своими глазами) – ежели, стало быть, отец Иннокентий так поступит, то он, Петруха, сам себя анафеме предаст, со стыдом в обратный путь потащится, к Антонине Коршуновой приставать ни с какими поношениями не станет... Да хоть бы и в монастырь по своей воле пострижется!

– Больно нужен ты в монастыре! – едко бросила Антонина, не сомневаясь, что сейчас оскорбленный отец Иннокентий вскинет десницу, широко перекрестится и ничтоже сумняшеся даст требуемую клятву, однако тот руки не поднимал, креста на себя не накладывал, а сделался челом бледен и как бы ни жив ни мертв, а потом вдруг рухнул на колени и пробормотал:

– Прости, Тонюшка, страдалица моя... не зря же крестили тебя в день Антонины Никейской, мученицы! Прости, Федор Андреевич, друг покойный, незабвенный! Как на свете все превратно, особливо грех ради наших, то и меня искушение настигло. Аз есмь грешник лукав и жаден! Виновен я! Виновен в сказанном!

Петруха захохотал, глядя на коленопреклоненного отца Иннокентия, который, смахнув скуфейку¹⁸, ожесточенно рвал остатки волос и посыпал голову пылью.

– Вот так-то, сеструха-воструха, – торжествуя воскликнул Кулагин, и этого Антонина уже не могла снести! Она бросилась на пришлеца, намереваясь выцарапать глаза, однако Кулагин оказался куда проворнее: перехватил ее на бегу и отшвырнул от себя с такой силой, что девушка не удержалась на ногах и грянулась навзничь, да так сильно, что дыхание зашлось.

Она услышала, как жалобно причитает отец Иннокентий, но его робкий лепет заглушает торжествующий хохот Петрухи да Феофилактово подхихикивание, а потом до нее донесся возмущенный женский голос:

– А ну, прекратите мучительствовать, палачи позорные! Дед ее за свой грех и так смертью наказан, девка осталась без всякой помощи и защиты, кроме единого Бога, отца сирых и судии немилостивых, а вы злорадствуете?! Ты, уродец рыжий, дорвался до богатства, выскочка поганый, так и беги, хватай ручищами загребущими, но девку не мучь! Пошли все вон отсюда! Вон пошли!

Антонина почувствовала, как ее поднимают сильные, но ласковые руки, а потом в ее помутившиеся глаза заглянули ясные глаза графини Стрешневой и раздался ласковый голос:

– Встань, девочка моя, не дай этим злодеям насладиться твоим горем!

– Ваше сиятельство, – с трудом пошевелила Антонина онемевшими губами, – так значит, это правда?! Про мою матушку... про отца погибшего... и я никакая не Коршунова? Неужели правда?!

¹⁸ Скуфья – маленькая суконная шапочка, головной убор священника, менее торжественный, чем камилавка (церковн.).

Глаза графини Елизаветы Львовны наполнились слезами, и голос ее понизился до шепота:

– Правда, дитя мое, к несчастью, это правда!

– Почему мне... почему мне не сказали раньше?! – простонала Антонина, едва дыша от ненависти к Петрухе Кулагину, к пыльному попику Феофилакту, к отцу Иннокентию, враз потерявшему всю свою важность, да заодно и к графине Стрешневой, которая смотрела на нее с такой жалостью... От этой жалости Антонине стало даже хуже, чем от оскорблений Петрухи, дыханье сперло в груди, она бессильно зашарила руками по сорочке, пытаясь ее разорвать, чтобы дать воздуху путь, но не смогла – лишилась сознания.

Потом Антонина узнала, что пробыла без памяти до утра, да и, очнувшись, вынуждена была оставаться в постели еще несколько дней. За это время произошло немало событий: напуганные графиней Стрешневой Петруха Кулагин и его прихвостень Феофилакт подняли бесчувственную девушку, перенесли ее в дом близ Троицкой церкви, где жили тетушки графини, и уложили в постель. Елизавета Львовна немедленно распорядилась о похоронах Андрея Федоровича, который был с почетом погребен на семейном участке Гавриловых. В парадных комнатах уваровского дома, за щедро накрытым столом, множество горожан поминало купца Гаврилова, а немедленно после поминок из Арзамаса выехал запряженный тройкою тарантас графини, в котором находились сама Елизавета Львовна, горничная Агафья и едва пришедшая в себя Антонина. Графиня Стрешнева спросила ее, хочет ли она проводить деда в последний путь, однако та качнула головой и сказалась немощной. Антонина лишь напомнила, что хотела похоронить Дорофею поближе к Гавриловым (эта просьба была исполнена), и замкнулась в молчании.

Девушка никак не могла смириться с обманом, в котором прожила жизнь. Оказывается, все имущество Гавриловых и в самом деле было завещано не ей, а Петру Кулагину. Ольга, сестра Федора Андреевича, заставила его сделать это, иначе грозила открыть правду о происхождении Антонины всему честному народу. Отец Иннокентий и впрямь согласился сделать фальшивую крестильную запись не только ради старинной дружбы с Андреем Федоровичем, но и ради тех щедрых пожертвований, которые посулил ему купец. А графиня Стрешнева, покровительница Антонины, обо всех этих хитростях знала... но из жалости к семье Гавриловых и из старинной дружбы с Глашенькой согласилась скрывать правду. Каждый лгал, и хоть это была ложь во спасение, ради блага Антонины, но всем известно, куда вымощена дорога этими самыми благими намерениями!

Ах, как было бы хорошо, если бы все это и в самом деле ей приснилось! Однако сейчас Антонина оказалась в аду размышлений, которые раньше никогда не посещали ее голову, в аду чувств, которые раньше никогда не терзали ее душу. Во время дороги, которая была удручающе длинна и неспешна (так ведь ехали, что, называется, «на долгих», то есть на своих лошадях и со своим кучером, не связываясь с дурными ямщиками и дурными коняшками ямских дворов¹⁹, из-за неумеренной скорости которых сломал голову не один путешественник!), однообразна (лишь остановки на съезжих дворах прерывали ее), Антонина не мечтала о будущем, а только оглядывалась на прошлое. Сердце ее было переполнено обидой, и попытки графини Елизаветы Львовны хоть как-то выразить сочувствие, встречались ею безучастно и даже враждебно.

Это вызывало гнев Агафьи, и однажды горничная, беззаветно преданная графине Стрешневой, дала волю этому гневу.

Случилось это на небольшом постоялом дворе, когда Елизавета Львовна уже улеглась в комнатушку, отведенной для ночлега самых почетных приезжих. Отличалась эта комнатушка

¹⁹ Ямские дворы – так назывались в описываемое время почтовые станы (станции), которые обеспечивали путников повозками, лошадьми и кучерами.

от прочих тем, что находилась во втором ярусе, а еще в ней стояла деревянная кровать. На эту кровать были уложены тюфяк и перина, принесенные из тарантаса. Такие же тюфяки и перины бросили на пол – для Агафьи и Антонины. В комнате же для прочих приезжающих, менее сановитых, лежали сеники, щедро набитые сушеной, еще летошней полынью – для отпугивания многочисленных блох. Впрочем, и в той комнате, где почивала графиня, по углам были развешаны метелки из свежей, уже в мае собранной, полыни; она же была заткнута во все щели кровати – с той же самой целью.

Антонина и Агафья внизу, в столовой комнате, увязывали в дорожные мешки провизию, оставшуюся от ужина (на еду, которую предложил хозяин, графиня и взглянуть не захотела: доедали свое, взятое из Арзамаса в таком изобилии, что еще на неделю пути хватило бы!), и Агафья едва слышно ворчала:

– Хватит нос задирать, вот что я тебе скажу! Кого ты из себя корчишь, девка? Чего губы дуешь с утра до ночи? Неужто лучше тебе было бы остаться в Арзамасе, где каждый в твою сторону плевать мог? Бездомная, без родни, без гроша... Да ведь матушка-графиня тебя спасла! Неужто ты не разумеешь этого?! Неужто совести у тебя никакой нет и нет рассудка?! За что графинюшку обижаешь? Гляди, вот она сама рассерчает да бросит тебя где-нибудь по пути! А еще хуже, в Стрешневку все же привезет да силком за любого крепостного замуж выдаст. Сама в крепь попадешь – тогда спохватишься, да поздно будет! Слышишь, что тебе говорят?

Антонина кивнула, да так и замерла с опущенной головой.

Показалось, будто Агафья выплеснула ей в лицо ведро ледяной воды. Девушка даже потеряла щеки, словно пытаясь смахнуть с них капли! Она даже дыхание переводила с трудом!

– Ага, вижу, проняло тебя! – проворчала Агафья. – Ну так и запомни: будешь сильно много из себя корчить – вся искорчишься! Это ж капли разума не иметь, если с младых ногтей не усвоить, что всякий сверчок должен знать свой шесток! Иди да кинься в ножки матушке графине, благодари ее слезно за все ее милости и кайся в том, что сентябрем на нее так долго глядела. Скажи, горе, мол, разум помутило, оттого и забыла свое место. Так что иди, иди, моли о милости!

Антонина снова кивнула и побрела к лестнице, однако Агафья напрасно надеялась, что мысли и чувства девушки исполнились должного смирения.

Строптивный, страстный, бесстрашный норов не давал Антонине покоя.

Она должна каяться?! А графиня Стрешнева, которая покрывала ложь деда? Ложь отца Иннокентия? Она покаяться перед Антониной не должна?!

И все же Агафья права, во многом права... Миновали те времена, когда Антонина была внучкой честного купца Гаврилова, одной из богатейших невест Арзамаса. Теперь она никто! Низвергнута в прах! И ежели хочет из этого праха подняться, должна вести себя поумнее и похитрее, и коль ради этого придется в ногах у графини валяться, ну что же, Антонина это сделает! А потом... поживем – увидим, что будет потом!

Она уже решила было идти просить прощения и, поднявшись по лестнице, даже взялась за ручку двери, которая вела в комнатку, где отдыхала графиня Елизавета Львовна, как со двора донесся скрип колес и топот копыт, потом послышались чьи-то голоса, раскатился сахарный говорок хозяина, который приветствовал новых гостей, заохала, запричитала Агафья, и голос ее был столь медоточив, что Антонина не выдержала – перевесилась через перила, чтобы увидеть вновь прибывших, однако дверь распахнулась, и сама Елизавета Львовна в казакине²⁰, накинута на ночную сорочку, появилась на пороге:

– В окошко увидела... не померещилось ли? Уж не госпожа ли Диомидова? Не сама ли Наталья Ефимовна, голубушка дорогая?!

Антонина пожалала плечами, потому что не знала, о ком идет речь.

²⁰ Казакин – здесь: распахнутая домашняя женская кофта с широкой спинкой.

Елизавета Львовна досадливо махнула на нее рукой и начала спускаться, цепляясь за перила и шлепая спадающими с босых ног чувяками.

– Ой, Елизаветушка Львовна, – донесся снизу плаксивый женский голос, – насилу мы доехали, ну что за дорога, что за ухабины!

– Ничего, матушка, – отозвался другой голос, девичий, – зато с ее сиятельством повстречались, хотя и не чаяли сего!

Антонина свесилась с лестницы и увидела внизу незнакомую женщину – примерно ровесницу графини Стрешневой, а при ней девушку лет семнадцати. Обе они выглядели совсем не так, как Елизавета Львовна, которая одевалась всегда только по-русски, хотя и в дорогие ткани: носила шелковые расшитые сорочки и парчовые либо аксамитовые сарафаны, накидывая для тепла подбитые мехом душегреи или казакины, а голову украшая небольшими кокошниками, шитыми жемчугом; на ногах у нее всегда были сафьяновые полусапожки. Эти же двое оказались одеты в платья – Антонина уже успела узнать, что по-городскому их называют робы²¹, – узкие в талии, но с пышными юбками. Наряд этот красотой и необычностью своей поразил Антонину, хотя сшиты были робы из простенького левантина²², годного для путешествия: у матушки темно-зеленого, а у дочери бледно-голубого, правда, в отличие от материнского, приукрашенного оборками. А на ногах у них были не сапожки, а башмачки необыкновенной красоты, из узорчатой кожи, мелкие, что лодочки, до щиколоток даже не доходившие... Наверное, это было именно то, что называлось удивительным городским словом – туфельки...

Правда, волосы обеих, и старшей, и младшей, были все-таки заплетены по-русски, причем у старшей две косы были уложены короной вокруг головы, а у младшей струилась по спине одна длинная темно-русская коса, показывая, что ее обладательница – юная девушка. Да и выглядела она в самом деле юной, нежной, как цветочек полевой, правда, изрядно припорошенный дорожной пылью и устало клонивший свою красивую головку.

Оказалось, это весьма дальние родственницы покойного графа Стрешнева: Наталья Ефимовна и Мария Васильевна Диомидовы. Были они из родовитой дворянской семьи, хоть и не титулованы, отчего Антонина мигом почувствовала к ним некоторое презрение (сама-то она при графине теперь жила!) и удивилась, отчего это Елизавета Львовна настолько к ним приветлива...

В самом деле, приветливость графини простерлась до того, что она даже пригласила мать и дочь переночевать в своей комнате, для чего были взяты из тарантаса и принесены наверх дополнительные перины и тюфяки, ну а Антонина и Агафья вынуждены были собрать свои постели и переместиться в общую комнату, благо она пустовала и с чужим народом тесниться не пришлось. Правда, тут же должна была ночевать и дебелая служанка Диомидовых, но пока что она суежилась вокруг своих барынь.

Пока переселялись, Агафья украдкой поведала Антонине, что графиня Елизавета Львовна оттого так радушна с вновь прибывшими, что лелеет мечты свести своего сына и Марью Диомидову. Однако Михаила Ивановича и калачом в женитьбу не заманишь, хоть Диомидова – невеста богатая, партия весьма выгодная. Он Марью Васильевну видел, когда она была еще неказистой и несмышленной девочкой, и думает, что она до сих пор такая, что без слез не взглянешь. А она-то вон как изменилась! Подросла, округлилась, разругалась, похорошела!

Впрочем, не только в его охоте или неохоте состоялось дело. Наталья Ефимовна не больно-то готова дочь отдать за такого повесу, как молодой граф Стрешнев. Мало того что в отца мотом уродился, да еще и слухи доходят, в Петербурге не столько службой занят, сколько по нетерпимым домам шляется да с кралечками столичными якшается.

²¹ Роба – от *франц.* robe – платье.

²² Левантин – то же, что саржа, ткань шелкового состава, иногда затканная золотом и цветами (*старин.*).

– По каким домам он шляется? – удивленно переспросила Антонина.

Агафья торопливо перекрестила рот и больше ни словом не обмолвилась, а побежала к чаю собирать – усталые путешественницы пожелали чаевничать, а графиня Елизавета Львовна решила составить им компанию.

– Тебе там делать нечего, – покачала головой Агафья, когда Антонина пожелала помочь накрывать на стол. – Марья Васильевна такая добрая да жалостливая, еще начнет расспрашивать, кто ты да что ты – конфуза не оберешься! Да и ни к чему ей, невинной девице, знать о чьих-то греховных похождениях, так что сиди и носу высунуть отсюда не смей, если не хочешь графинюшку нашу рассердить. Добрая-то она добрая, однако как разойдется да себя забудет, так никого не помилует!!

И Агафья выскочила из комнаты.

Антонина рухнула на тюфяк, скрипя зубами от злости. Вспоминала свои разнеженные мечты о том, как она, богатая наследница купца Гаврилова, спасет от разорения семью Стрешневых и тогда молодой граф женится на ней...

Это были не просто глупые мечты – это были самые дурацкие мечты на свете! И не только потому, что теперь у Антонины ни гроша, что жива она только милостями графини Елизаветы Львовны. Если Стрешнев-молодой на родовой дворянке Марье Васильевне Диомидовой жениться не хочет, при всем ее богатстве, то разве поднял бы он глаза на какую-то купчиху арзамасскую? Он, вишь ты, по нетерпимым домам каким-то шляется, у него там какие-то кралечки... Интересно, что это такое – нетерпимые дома с кралечками? У кого бы вызнать?

Она долго вертелась, зовя сон, но уснуть никак не удавалось: немало мешали громкие разговоры, которые вели между собой графиня Елизавета Львовна и старшая Диомидова. Однако в конце концов Антонина задремала, а потом и уснула так крепко, что даже не слышала, как воротились Агафья и Мавра, служанка Диомидовых.

Глава седьмая

Езда в Остров Любви

Примерно за месяц до описываемых событий, глубокой ночью, молодой граф Стрешнев стоял на крыше некоего двухэтажного дома неподалеку от Красного канала²³ и размышлял, убьется он или нет, если спрыгнет на землю.

Предположим, не убьется, предположим даже, удастся спрыгнуть без членовредительства, но потом-то что делать?! Куда деваться в одной рубашке и босиком, без мундира и сапог, а главное, даже без штанов?!

Графа Михаила била дрожь не только от беспокойства: ночь выдалась прохладной, даром что весна на дворе. Что поделаться, таков уж Санкт-Петербург – неприветлив да немилостив!

В доме, на крыше которого господин Стрешнев примостился, стоял дикий шум, по траве скакали тени из ярко освещенных окон. Михаил вспомнил, как скупердяйствовала мадам Фортюн, хозяйка этого *maison de tolérance*, по-русски говоря, дома терпимости (именно их называла суровая Агафья домами нетерпимости!), жалела лишних свечей, наставительно повторяя, что ночные утехи должны во тьме совершаться. Однако на сей раз, похоже, запалили все свечки: не то нагрянувшей внезапно полиции не по сердцу была всяческая экономия, тем паче в чужом хозяйстве, не то блюстители порядка желали как можно лучше при ярком освещении разглядеть блюстительниц беспорядка, визг которых то и дело тревожил слух Стрешнева, не то полицейские искали какие-то вещи, которые изобличили бы столь же проворных, как молодой граф Стрешнев, визитеров, которые успели удрать полуголыми...

При этой мысли Михаил Иванович начал осознавать, что его развеселой жизни в Петербурге, кажется, приходит конец, причем совершенно не достославный. Если его схватят нынче и опознают, то, конечно, попрут из гвардии поганой метлой...

– Тысяча дьяволов, десять тысяч дьяволов! – пробормотал граф Михаил сокрушенно.

Внезапно он увидел, как из одного окна высунулась белокурая растрепанная головка, извернувшись немислимым образом, чтобы взглянуть на крышу, однако тотчас вновь скрылась внутри. Впрочем, несмотря на краткость сего действия, Стрешнев успел ее узнать: это была Аминта, очаровательная потаскушка, к которой он явился каких-то полчаса назад и надеялся наслаждаться с ней упоительными мгновениями телесной любви самое малое до утра, ибо ему, как щедрому завсегдатаю веселого дома мадам Фортюн, положены были некоторые привилегии. Остальные посетители могли занимать спаленки девиц только по часу, дабы у врат притона разврата не выстраивалась у всех на виду очередь распаленных мужчин. Мадам Фортюн старалась соблюдать хотя бы минимум приличий! Однако граф Михаил, как уже было сказано, пользовался расположением хозяйки, оттого мог не спешить заканчивать свои развлечения с Аминтой.

Как звали девицу по-настоящему, он не знал и знать не хотел: ему вполне нравилось это имя, извлеченное, конечно, из книги «Езда в Остров Любви» пиита Трелиаковского, бывшей у молодежи на слуху уже не первое десятилетие и по-прежнему имевшей сногшибательный успех! Впрочем, молодые гвардейцы и драгуны, превознося ее, могли некоторые, особенно смелые, строфы лишь повторять с чужого голоса, в глаза при этом самой книги не выдав. Однако граф Михаил, читать с молодых ногтей любивший и много читавший, проштудировал «Езду в Остров Любви» весьма внимательно. В отцовской библиотеке в Стрешневке книг было немало, и среди множества научных (любимых отцом) или нравоучительных (предпочитаемых

²³ В XVIII веке Красный канал протекал в Петербурге до Невы параллельно с каналом Лебяжьим и Фонтанкой. Позднее был засыпан.

матушкой) сочинений каким-то чудом завалилось старое уже (1730 года, более чем двадцатилетней давности!), пыльное издание, которое если и не сделало нашего героя утонченным любовником, то немало пообтесало его пыльное юношеское удалство.

Стрешнев-старший – мот, игрок! – сыну охальничать с крепостными девками воспретил. «Небось, когда-нибудь женишься и поймешь, что ревнивый муж на все способен, и не суть важно, слуга он или господин!» – приговаривал граф Иван Михайлович Стрешнев наставительно. У него всегда на памяти была история некоего помещика, который злоупотреблял в своих имениях *jus primaе noctis*²⁴, да и в *noctis* последующие не стеснялся ни с девками, ни с бабами похабничать, отчего и напоролся однажды в собственном лесу на самострел, им же самим против медведя-шатуна и установленный. Видать, забыл бедолага, где именно его поставил... А может, кто и перенаправил самострел аккурат на ту самую тропу, которой похабник-господин частенько хаживал?..

Михаилу Ивановичу было неведомо, что именно этот случай образумил и отца его. Прежде граф был великий ходок, и даже в доме своем не стыдился похабничать и до свадьбы, и после нее, даже с горничной жены блудил, однако, прознав о случившемся с соседом, струхнул и поумерил свои аппетиты.

Чтя отцовы заветы, Стрешнев-молодой в своем имении девок не портил, а если и избавлялся от переполнявшей тело похоти (ну иной раз вовсе уж невтерпеж становилось... да и что ж такого, дело вполне житейское!), то лишь со вдовами или солдатками, чтобы никому от сего «избавления» беды не было. Многие бабенки мечтали даже о прибавлении, то есть желали бы от барина понести, да как-то не свезло никому – на счастье Михаила Ивановича, который вовсе не мечтал встречать своих, деликатно выражаясь, бастардов среди чумазой крестьянской детворы. При всем при том Стрешнев-молодой крепко был одурманен «Ездой в Остров Любви» и мечтал совсем о других эмосьонах²⁵, грезил оказаться вот в каком месте и вот с кем встретиться:

Туды на всяк день любовники спешно
Сходятся многи весьма беспомешно,
Дабы посмотреть любви на причину,
То есть на свою красную едину.
С утра до ночи тамо пребывают,
О любви одной токмо помышляют.
Все тамо дамы украшены цветы,
Все и жители богато одеты.
Всё там смеется, всё в радости зрится,
Всё там нравится, всему ум дивится.
Танцы и песни, пиры и музыка
Не впускают скорбь до своего лика.
Все суть изгнаны оттуду пороки,
И всяк угрюмой чинит весел скоки.
Всяк скупой сыплет сокровище вольно.
Всяк молчаливый говорит довольно.
Всякой безумной бывает многоумным,
Сладкие музы поют гласом шумным.
Наконец всякой со тщанием чинит,
Что лучше девам ко веселию мнит.

²⁴ Право первой ночи (*лат.*).

²⁵ Эмосьоны – чувства, от *франц.* *émotions*.

Живое воплощение этих строк Михаил отыскал наконец в заведении мадам Фортюн, где и сделался вскоре завсегдаем, так же как и многие его приятели и сослуживцы.

Однако все же не столичные *maisons de tolérance* сыграли главную роль в том, что Михаил не сопротивлялся, когда настало ему время ехать отправлять службу в столицу. По-хорошему, следовало бы ему заниматься имением, порядком пошатнувшимся с некоторых пор – благодаря постоянному мотовству графа Стрешнева-старшего. Однако уважающему себя человеку необходимо было служить и иметь чин. Целый век подписываться «недорослем из дворян» – позорнее этого, полагала титулованная молодежь, ничего нельзя придумать. Ведь недорослем называли не только не взрослого, не достигшего еще двадцати одного года человека, но и того, кто никакого чина или звания, ни военного, ни статского, не имел!²⁶ Служба статская презиралась у юношей из хороших домов, тем паче – титулованных. Оставалась служба военная, а наш герой был записан в Преображенский полк уже с четырнадцати лет. Оставалось лишь по пришествии совершенных лет прибыть в столицу и объявиться в полку.

Молодой граф квартировал в Петербурге отнюдь не в казарме, а вместе с наилучшим своим приятелем, полунемцем Петром Гриммом, таким же повесою, как он сам, снимал жилье на Лиговке, у некоего отставного майора, который весьма к своим постояльцам благоволил. Родители Гримма и графиня Стрешнева поочередно присылали им из деревень целые возы провизии: живности, молочного, муки, круп, меду и всякой прочей всячины, то есть им не приходилось зависеть от милостей каптенармуса²⁷, а также и хозяину их немало перепадало.

Хранимый судьбой и благоволением командира полка, который оказался бывшим сослуживцем как Стрешнева-отца, так и отца Гримма, Михаил счастливо избег командирской должности (ибо распорядиться чужими жизнями и смертями ему хотелось меньше всего на свете!). Словом, эти завязтые повесы жили в свое удовольствие и смотрели на службу, словно на веселую игру. Им повезло угодить в полк аккурат между двумя шведскими войнами, в которых участвовали преображенцы: первая уже с десятков лет как закончилась, о второй даже гадалкам еще не было ведомо²⁸, – так что жизням храбрых молодцев пока ничего не угрожало. Маневры были им в радость и развлечение, на парадах оба блистали выправкой и шагистикой, на стрельбах отличались меткостью (наострились в родных имениях, охотясь!), а потому невозбранно позволяли себе некоторые вольности, к числу которых и относилось посещение упомянутых «мезонов терпимости», или «терпимых мезонов», кои ревнители нравственности во всех слоях общества называли «нетерпимыми домами».

Впрочем, по сравнению с былыми временами мезоны сии существовали почти на законном основании. У старожилов еще живы были воспоминания о немецкой оборотистой фрейлейн Анне Фелькер по прозвищу Дрезденша, современнице покойной Анны Иоанновны и злополучной Анны Леопольдовны. Этим прозвищем Фелькер была обязана городу, из которого прибыла в Российскую империю. Через несколько лет жизни в Санкт-Петербурге она заработала своим телом достаточно, чтобы снять дом на Вознесенской перспективе²⁹, где устроила свое заведение. Девушек хозяйка привозила из Германии.

Когда на престол взошла Елизавета Петровна, дай ей Господь здоровья и долголетия, Дрезденша была заключена в Петропавловскую крепость. Половина красоток сбежала на родину, половину отправили в Сибирь. Настали, по рассказам старожилов, нелегкие времена для сластолюбцев... Однако вскоре как-то само собой открылись новые *maisons de tolérance*,

²⁶ Князь Голицын, приятель А. С. Пушкина, никогда не служивший и поэтому не имевший чина, до старости писал в официальных бумагах о себе: «недоросль», хотя жил гораздо позже описываемого времени.

²⁷ Каптенармус – унтер-офицер, ведающий учетом, хранением и выдачей военного имущества, в том числе провианта (*старин.*).

²⁸ Первая Русско-шведская война велась в 1741–1743-х годах, вторая – в 1788–1790-х годах.

²⁹ Позднейшее название – Вознесенская улица, затем Вознесенский проспект.

и, несмотря на некоторые притеснения со стороны полиции, дело любопытствия продолжало процветать.

Господам офицерам посещать «нетерпимые дома» вообще-то не возбранялось, однако, будучи при форме и знаках отличия, они ни в коем случае не должны были попасться на глаза полицейским чинам. Но если гвардейцев все же ловили на горячем, то они подвергались самым суровым наказаниям, вплоть до понижения в звании, высылки на службу в отдаленные провинции и даже до разжалования!

Раньше Михаилу везло. Но сегодня он чуть не угодил в лапы полиции! Кстати, вполне возможно, что еще угодит. А ведь Гримм считал себя лишенным плотских удовольствий страдальцем из-за того, что нынче жестоко разрюмился³⁰. Кажется, почувствовать себя страдальцем придется графу Стрешневу! Стоит только представить себя прыгающим с крыши голышом, бегущим в таком виде по улицам и возвращающимся таким же ну³¹ на квартиру, чтобы предстать пред хозяином, отставным майором... Опять же форма пропадет, пока еще сошьют новую, а до той поры как в полк являться?!

– Тысяча дьяволов, десять тысяч дьяволов!

Ох, позорище... Михаилу вдруг вспомнилось родовое напутствие, передаваемое в семействе Стрешневых из поколения в поколение: «Будь усерден к Богу, верен государям, будь честен, ни на что не напрашивайся и ни от чего не отговаривайся, а пуще всего честь имени Стрешневых береги!»

Честь имени Стрешневых! Да ведь если он попадетя во время бегства на глаза полицейским, его ждет не честь, а бесчестие!

Не лучше ли как-то спуститься все же с крыши остороженько, а потом сразу броситься в канал да и утопиться?!

Все эти размышления выглядят долгими и многословными, лишь на бумаге будучи написанными, а на самом деле они промелькнули в голове у нашего героя в один миг. Молодой граф уже подступил было к краю крыши, чтобы кинуться навстречу неминуемому, каким бы оно ни было, как вдруг из нижнего окна вновь высунулась белокурая головка Аминты, потом вылетел какой-то тючок, а девушка быстро махнула рукой сверху вниз, словно подавая стоявшему на крыше Михаилу некий таинственный знак.

Впрочем, ничего таинственного в этом знаке не было. И дурак догадался бы, что Аминта приказывает любовнику: спускайся и подбери тючок! Михаил не сомневался, что там его одежда...

О благословенная Аминта! Молодой человек торопливо поклялся – мысленно, конечно! – что отныне всегда будет выбирать только ее из всех девушек мадам Фортюн, а платить станет вдвое дороже. За час как за два, за ночь как за сутки. Пусть это даже разорит его, он непременно так и поступит!

Затем Михаил принялся спускаться, цепляясь за малейший выступ в стене, однако скорость заботила его куда больше, чем осторожность, поэтому с полпути он сорвался и довольно чувствительно грянулся оземь. Впрочем, сейчас было не до боли! Схватив тючок со своими вещами, Стрешнев начал было напяливать их на себя, но тотчас подумал, что любой, кто выглянет из окна и увидит его, сразу поймет: этот полуодетый офицер – беглец! Поэтому наш герой бросился к забору, в котором знал некую потайную калиточку. Выскользнул в нее, огляделся, не видно ли где полицейской засады, не обнаружил ее, и кинулся по склону, ведущему к Красному каналу. Здесь, под прикрытием насыпного вала, наш перепуганный герой тороп-

³⁰ Рюмить – простудиться: от *франц.* rhume – насморк.

³¹ Голый (*франц.*).

ливо оделся, причем на левую ногу натягивать лосины, а потом и сапог было почему-то очень больно.

«Зашиб, да ничего!» – подумал Михаил, застегнувшись и огладив складки мундира. Шляпа его форменная оказалась тут же – Аминта не упустила ничего. Да будет благословенна подлинная немецкая аккуратность!

Стрешнев кое-как выбрался с вязкого песчаного берега на дорогу и пошел было по направлению к Лиговке, однако левая нога слушалась все хуже, а уж как больно-то было! В конце концов графу нашему пришлось подобрать какую-то валяющуюся при дороге оглоблю и ковылять, опираясь на нее и едва сдерживая стоны.

Потом он их уже не сдерживал, то и дело бормоча: «Тысяча дьяволов, десять тысяч дьяволов!» – и вскоре понял, что идти больше не может. Почти не сомневался, что при падении ногу сломал... На удачу, пробежал мимо шустрый мальчишка, которого Михаил и уговорил сбегать на Лиговку и сообщить о беде.

Боль усиливалась, Михаила бросало то в жар, то в холод. Он уже почти не сознавал, что происходит, почти не помнил, как появились отставной майор и беспрерывно чихающий Гримм в сопровождении денщиков своего и Стрешнева, подняли страдальца и потащили в лазарет.

Забегая вперед, скажем, что да, нога окажется сломана, причем в двух местах, и как Стрешнев умудрился пройти чуть ли не версту, останется только гадать!

В лубках молодой граф проведет месяц, а потом выяснится, что пешее хождение немало сместило осколки костей, так что ему на всю жизнь суждено остаться хромым.

Ну и, понятное дело, придется подать в отставку...

– Да, поиграла со мной судьба, ничего не скажешь! – бросит Михаил Иванович с горечью, колыхаясь в тарантасе, присланном за ним матушкой, и отправляясь домой, в Стрешневку. И только головой покачает, вспомнив, что содержательница «нетерпимого дома», со стены которого он сорвался, носила прозвище Фортюн!³²

Графу Михаилу Ивановичу Стрешневу было невдомек, что его ожидают еще многие игры судьбы, а также фортуны и рока.

³² От fortune – судьба, фортуна (*франц.*).

Глава восьмая

Новый кучер госпожи Диомидовой

Агафья и диомидовская Мавра вернулись-то неслышно, улеглись-то тихонечко, однако потом расхрапелись обе-две, да так, что Антонина спала беспокойно и проснулась ни свет ни заря.

Впрочем, она и всегда была пташкой ранней, оттого не стала больше манить сон, а поднялась и подошла к окну, зевая, потягиваясь да переплетая распустившуюся косу.

Как Антонина заметила еще вчера, застекленных окон на этом постоялом дворе было мало: стекла стоили бешеных денег, оттого хозяева съезжих домов обычно тратились на рамы только в тех комнатах, где ночевали самые почетные гости. В остальных же покоях окошки либо затягивали промасленной бумагой, сквозь которую разглядеть хоть что-то было невозможно, либо загораживали деревянными щитами в студеную пору, ну а летом, когда ночи и так теплы, обходились и вовсе одними ставнями.

Антонина откинула косу за спину и осторожно, стараясь не разбудить спящих соседа, вынула болт из пазов. Отворила ставни.

За ночь округу заволокло туманом, но в самой вышней вышине уже брезжило розоватое рассветное небо, и можно было ожидать, что туман скоро ляжет, а значит, день выдастся солнечным, ясным и жарким. Однако пока вокруг еще реяла серая зыбкая мгла, Антонина вдруг заметила за забором некое странное движение. Приглядевшись, она различила две удаляющиеся фигуры, мужскую и женскую, а еще – очертания трех коней. Вроде бы один был гнедой, а два буланые, впрочем, туман мешал разглядеть их как следует. Мужчина вел в поводу двух коней, женщина – только одного, причем ей приходилось непросто, ибо она была роста маленького, вряд ли очень сильна, а конь, ею ведомый, то и дело взбрыкивал, так что ей порой приходилось почти тащить строптивую скотину. Но вот мужчина присвистнул негромко – и конь, как по волшебству, смирился и послушно последовал за женщиной. Всадники то и дело озирались, и, даже не видя их лиц, можно было понять, что озираются они с тревогой и спешат отдалиться от постоялого двора как можно скорее.

Еще не вполне проснувшаяся Антонина сначала подумала, что это пастухи, которые повели коней пастись, однако по повадкам «пастухов» вскоре догадалась, что перед ней конокрады, которые уведут лошадушек из конюшни постоялого двора. Очень возможно, следовало бы поднять тревогу, однако Антонина только плечами пожала: ну какое ей было дело до каких-то путешественников, которые лишились лошадей и теперь столкнутся с немалыми трудностями в пути? У нее своих забот хватает!

Тем временем фигуры людей и лошадей совершенно растаяли в тумане, а потом послышался удаляющийся топот копыт, из чего следовало, что конокрады перестали вести добычу в поводу, вскочили верхом и теперь их не догонишь.

Внезапно во двор выбежал какой-то растрепанный, с соломой в волосах, мужичок. Антонина не тотчас узнала графского кучера Серёнку, который накануне извел всех своим нытьем и жалобами. Сейчас он, однако же, не ныл, а вопил во всю глотку:

– Спасите! Помогите! Увели, всех трех лошадушек увели! Охти мне, охтенки, беда бедущая!

Вопли Серёнкины были столь пронзительны, что разбудили даже Агафью, которая подхватила и принялась испуганно креститься, приговаривая:

– Чтой-та? Неужли попритчилось? Аль зарезали кого?!

Антонина лишь руками всплеснула, потому что только сейчас до нее дошло: конокрады увели не каких-то там неведомых лошадей каких-то там неизвестных путешественников, а

именно трех коней графини Стрешневой, гнедого и двух буланых, то есть теперь и графине Елизавете Львовне, и ее спутницам, Агафье и самой Антонине, добраться до Стрешневки не на чем!

Разумеется, девушка благоразумно промолчала о том, что видела конокрадов и могла бы тревогу раньше поднять, да вот как-то не сподобилась...

Из конюшни появился незнакомый мужичок и принялся истово креститься, приговаривая:

– А наших не тронули, милушек моих, слава, те, Господи!

Тем временем захлопали ставни в комнате, где спали сама Елизавета Петровна и обе дамы Диомидовы, мать и дочь, и их чепчики высунулись из окошек.

Подхватилась и диомидовская служанка, кинулась к своим барыням, едва напялив сарафан на сорочку да на бегу покрываясь платком.

На крыльцо выскочили полуодетые хозяева постоялого двора и кинулись было вслед за Серёнькой, который пытался догнать конокрадов, однако вскоре все трое вернулись ни с чем: воров и лошадей и следа не нашли, все они будто развеялись в тумане!

– Вот не иначе цыгане! – прорыдал Серёнька, падая на колени перед крыльцом и с мольбой задирая голову к окну, из которого на него взирала разгневанная госпожа. – Лишь они копыта лошадиные в тряпки заворачивают, чтобы стука слышно не было, лишь они умеют так скотину заговаривать, чтобы та и ни ржанула ни единого разу, когда ее со двора поведут!

– Откуда в наших краях цыгане? – отмахнулся хозяин. – Отродясь здесь этих басурманов не видывали. Небось свои, из соседних деревень, умельцы поработали. Не впервой шастают по постоянным дворам да лошадей сводят, обездоливая путешественников!

В своей комнате наперебой возмущались графиня и госпожа Диомидова, призывая хозяйина послать за полицейской командой аж во Владимир. Тот лишь руками разводил: а что проку, дескать, в той команде? Да разве можно сыскать краденых коней и самих воров в дебрях лесных?! У них-то все дорожки нахожены, все тропки проторены. Они своего дела мастера: припрятут коней где-нибудь в зарослях, в тайных балаганах, а потом сведут на ярмарку, замазав приметные пятна, переокрасив или вовсе обрезав гриву и хвосты, да так, что даже если какой упорный хозяин затеет по тем ярмаркам ездить, чтобы пропажу вернуть, он мимо своих лошадушек пройдет, их не распознав.

Все эти разговоры Антонина, впрочем, слушала вполуха. У нее вдруг ноги ослабели, она плюхнулась на тюфяк, а перед глазами так и стояли фигуры конокрадов: одна мужская, другая женская – маленького роста, словно это была девочка. Вспомнилось также, как мужчина присвистнул негромко – и строптивый конек пошел в поводу, словно шелковый. Такой же свист совсем недавно усмирил в лесу близ Арзамаса ее Сивку!

Неужели это были и впрямь цыгане? И не просто какие-то цыгане, а те самые, которые принесли ей столько горя: Яноро и Флорика?!

Да быть такого не может! Откуда им тут взяться? А что до свиста... Швейи все одинаково шьют, все кузнецы одинаково куют, все рыбаки одинаково сети заводят – вот и все конокрады небось одинаковым свистом уворованных лошадок успокаивают!

Антонина изо всех сил убеждала себя в этом, потому что жуть ее брала, стоило только допустить, что здесь и впрямь побывали ее знакомцы, этот братец ее единокровный – да провались он пропадом, убийца, – и его спутница, ведьмочка-цыганочка, которая открыла Антонине самую страшную, самую позорную тайну: тайну ее рождения!

– Да что ты сидишь, ровно к тюфяку приклеилась?! – вдруг донесся до ее ушей гневный крик Агафьи, а потом и рука ее вцепилась в плечо девушки и немилостиво встряхнула. – Спишь с открытыми глазами! Сколько раз тебе повторять?! Рожу умой, оденься – да за дело! Госпожи завтракать желают, а потом и в путь-дорогу!

– В какой путь, в какую дорогу?! – изумилась Антонина. – Лошадей ведь увели, на чем поедем?!

– Эх, да покуда ты в пустоту пялилась, уже все решилось! – хохотнула Агафья. – Поедем налегке, вместе с барынями Диомидовыми. Диомидовкато от Стрешневки в каких-то двадцати верстах, через реку. Они нас и отвезут домой, а потом матушка Елизавета Львовна людей да лошадей пошлет, чтобы тарантас да остальные вещи наши вывезли. Серёнька, бестолочь, останется его стеречь, в нем и спать будет, чтобы не увели те же удалыцы, что коней покрали. Конечно, повозка у Диомидовых невелика, да и ладно, авось как-нибудь уместимся, только вот тебе, конечно, придется на козлах рядом с кучером потрястись. Ну да ничего, кости у тебя молодые, авось как-нибудь потерпишь! А теперь быстро одевайся, хватит расслаживаться, надо вещички собрать, какие графинюшка-матушка пожелает с собой взять! Да как выйдешь к барыням, смотри, пониже кланяйся, помни, что я тебе говорила: знай свое место!

Суматоха сборов длилась едва ли не полдня, и за все это время у Антонины маковой росинки во рту не было. Агафья гоняла ее почем зря, то заставляя перекладывать в два сундучка и увязывать в два узла все, что Елизавета Львовна не хотела оставлять на постоялом дворе; то перемещая в диомидовской карете, красивой, затейливо изукрашенной, однако и впрямь не очень-то поместительной, имущество, лежавшее там прежде. Хоть вещей Диомидовы везли с собой не больно-то много (к родне они ездили ненадолго, да и не столь велико было расстояние, чтобы обременять себя лишней поклажей), никак не выходило разместить узлы и сундучки графини Стрешневой – да еще оставить место для нее самой и Агафьи с Маврой. Наконец додумались взвалить один сундук на крышу кареты, другой привязали на задах, а узлы кое-как затолкали внутрь. Теперь местечко для Елизаветы Львовны отыскалось, однако Агафья и Мавра озабоченно переглядывались: им-то куда деваться?!

Агафья оказалась подогадливей, и ее физиономия вытянулась еще прежде, чем графиня не без виноватинки в голосе сказала:

– А тебе, голубушка Агафьюшка, придется остаться. Сама видишь, посадить тебя ни разу некуда! К тому ж Серёньке я не больно доверяю. Лошадей проспал, а уж имущество мое и подавно проспит, а то и, не дай Бог, пропьет. Сама знаешь его кучерскую натуру!

– Да как же я без вас? – всхлипнула Агафья. – Лучше Антонину оставьте, а меня возьмите!

– Да разве ж она одна управится, неопытная, непривычная?! – всплеснула руками Елизавета Львовна, однако потом шепнула Агафье что-то такое, от чего кислое выражение лица горничной сменилось хищным и недоверчивым, зато ныть и причитать она перестала.

Антонина почти не сомневалась в том, что именно графиня шепнула верной служанке: небось, как бы своевольная девка тут, на свободе, оставшимися вещами не распорядилась, не присвоила чего поценнее да не сбежала невесть куда!

Антонина и виду не подала, что обо всем догадалась, однако же зубами тихонько скрипнула. Нет, не потому, что такое предположение графини ее обидело и огорчило – напротив, ее огорчила догадливость Елизаветы Львовны! Именно это девушка и собиралась сделать, втихомолку лелея надежду, что останется на постоялом дворе, а потом сбежит восвояси. И никаких угрызений совести она при этом не чувствовала. Первые потрясения от внезапных событий, обрушившихся на ее голову, уже миновали, а нынешнее утро, когда и графиня, и Агафья шпыняли ее в хвост и в гриву, вполне отчетливо показало то будущее, которое ждет ее в Стрешневке. Агафья пугала: мол, замуж за крепостного выдадут – да ведь Антонина и без того уже почувствовала себя крепостной, подневольной! У них с дедом все работники были наемные: хоть и знающие свое место при хозяине, а все же вольные, не без гордости, не без достоинства. Да, получали они деньги из рук деда, а все же были свободны в любое время уйти, ничем к месту не привязаны, кроме денег. Властелином своих судеб они Андрея Федоровича Гаври-

лова не считали. Перед некоторыми работниками дед и сам угодничал, боялся их потерять, знал, что таких везде с руками оторвут. Дорофея вообще была деду и Антонине как родная... А вот ее саму, хоть графиня Стрешнева и покровительствует ей, хоть и жалеет сироту, а все же немного презирает, как всякий благополучный человек презирает (пусть и жалея при этом!) обездоленного, а главное, как всякий, имеющий мать и отца, презирает незаконнорожденного.

Не зря Петруха Кулагин назвал так Антонину... И это клеймо носить ей пожизненно, забыть такое не дадут! Поэтому она и возмечтала о побеге. Сейчас подворачивался как нельзя более удобный случай. А что это было бы связано с воровством у графини, нимало не смущало девушку. Графиня богатая, у нее всего вдосталь, а Антонина нищенка. Конечно, Елизавета Львовна пообижалась бы поначалу, однако потом, рассудив, что, утратив малую часть своих вещей, избавилась от докучливой обязанности заботиться о неудачнице всю жизнь, утешилась бы...

Вот как ладно Антонина все обдумала, да сорвалась затея! Однако девушка не сомневалась, что рано или поздно воплотит задуманное в жизнь. Может, даже и к лучшему, что сейчас сбежать не получится. Небось в Стрешневке можно будет раздобыть что-нибудь более ценное, чем сарафаны и душегрейки графини, которые еще надо будет где-то продавать, а этим, быть может, навести на свой след погоню. Нет, если Антонина даст деру из Стрешневки, то постарается разжиться серебром, которое поможет ей начать новую жизнь!

Истошный крик вырвал девушку из задумчивости. Всполошенно оглядевшись, она увидела Мавру, которая валялась в ногах у Диомидовой-старшей, рыдая и умоляя не бросать ее здесь, на этом богом забытом постоялом дворе!

Ну да, смекнула девушка, ведь теперь в карете Диомидовых нет места ни для тощей Агафьи, ни для увесистой Мавры. На козлах рядом с Парфёшей, кучером диомидовским, толстуха в жизни не поместилась бы, а поместившись, просто сломала бы эти козлы своим весом! Так что не миновать на козлах и впрямь восседать Антонине, ну а Мавра и Агафья пускай кукуют здесь, на постоялом дворе, вместе с Серёнькой!

Антонина с трудом сдержала злорадный смех, жалостливая Маша Диомидова принялась утешать плачущую Мавру, но внезапно от кареты донеслась яростная ругань, а потом и шум неистовой драки. Бросившись туда вслед за Елизаветой Львовной и Диомидовыми, Антонина увидела, что Серёнька и Парфёша тузят друг друга почему зря, и как ни кричали на них барыни, как ни приказывали успокоиться, делать это они не собирались, а, напротив, дрались все с большей яростью. Вот уже кулаков им оказалось мало, вот они схватились за оглобли... Пара резких взмахов – и Серёнька рухнул с окровавленной головой, почти в беспамятстве, а Парфёша, рыдая, принялся баюкать сломанную руку.

– Да кой бес вселился в вас?! Да кой черт вас подзудил?! – завопили в один голос обе возмущенные барыни, а Мавра и Агафья выразились куда простонародней, зато гораздо более впечатляюще – так, что Марья Васильевна покраснела и зажала уши руками, а Антонина, в свое время слышавшая от дедовских работников да и от него самого и не такое, только расхохоталась.

Вскоре выяснилось, что Серёнька, до ужаса огорченный тем, что его оставляют на постоялом дворе в компании с Агафьей, которая ему была своим нравом хуже горькой редьки, сорвал злость на Парфёше и начал задираться: почему, дескать, неведомые воры только моих трех коней свели со двора, а двух твоих оставили? Да уж не был ли ты воровским пособником? Не состоял ли с ними в связке? Не приплатили ли тебе конокрады, чтобы не видел ничего и не слышал?!

Услышав такое поношение, Парфёша, понятное дело, разобиделся не в шутку, не сдержал сердца и полез в драку, вот и дошло до разбитой головы и сломанной руки.

Какое-то время прошло в хлопотах о пострадавших, в приказах Агафье и Мавре позаботиться о них, забыв старинные распри, а потом графиня и Диомидовы вдруг переглянулись –

да так и замерли, ибо каждая внезапно осознала, что кучера-то, который довез бы их до Диомидовки, у них нет! Оба теперь немощны!

Диомидова-старшая растерянно простонала:

– Да что же нам делать?! Неужто снова здесь ночевать?!

При этих словах матери Маша заплакала, разглядывая свои нежные руки, покрытые красными пятнышками. Видимо, несмотря на изобилие полыни, здешние блохи ее порядком покусали, поэтому мысль о том, что придется провести в их власти еще ночь, горько опечалила девушку.

– Придется идти в деревню, нанимать кого-нибудь, – решила не потерявшая присутствия духа графиня Стрешнева, косо поглядывая при этом то на одного, то на другого кучера. – Ну а если не найдем никого, стану вас, поганцев, пороть, пока рука не притомится! А как отдохну, сызнова пороть стану!

Послышался дружный испуганный вопль Парфёши и Серёнки, однако графиня лишь кивнула, подтверждая угрозу. Но только она повернулась было к Агафье, намереваясь послать ее в ближнюю деревушку на поиски нового возницы (не самой ведь плестись, барские ножки бить!), как вдруг раздался чей-то звонкий голос:

– Нужды нет в деревню идти, ваше сиятельство! Ничего страшного не приключилось! Я умею управляться с лошадьми!

Все присутствующие повернулись и недоумевающе, не вполне веря своим ушам, воззрились на Антонину, которая и произнесла эти слова. А они были вполне правдивы. В Арзамасе внучка купца Гаврилова не только верхом гоняла, но и бричкой, и телегой правила, если надо было деда куда-нибудь отвезти, а кучер оказывался либо хвор, либо с похмелья маялся.

Девушка уверенно подошла к карете, взобралась на козлы, как и положено, с правой стороны, уселась, надежно упершись ступнями в подножку, подобрала вожжи, как водится у опытных ездоных, «взагреб»³³, и легонько трянула ими, прикрикнув:

– Эй, родимые!

Обе лошадушки вскинули головы, запрядали ушами, заиграли мышцами, выражая явную готовность послушно тронуться с места. Графиня Стрешнева и госпожа Диомидова довольно переглянулись, Маша снова залилась слезами – на сей раз от радости, ну и оба провинившихся кучера вздохнули с облегчением, понимая, что от порки они, по крайней мере в ближайшее время, спасены!

³³ Держать вожжи взагреб – то есть они должны проходить через всю ладонь обязательно снизу, быть зажатыми в кулаке и прижатыми большими пальцами.

Глава девятая

Лихие люди

И версты не проехали, как Антонина поняла, что обоих возчиков от неприятностей она, может, и избавила, зато себе на шею навязала их во множестве.

Для начала Антонина поняла, почему Наталья Ефимовна, прибыв на постоянный двор, жаловалась: насилу, мол, доехали. Она оказалась страшной трусихой, превратившей обычную дорожную езду в истинное мучение для себя и других. Чуть что, из кареты доносился ее крик:

– Стой, стой, я выйду, ай, гора... ай, косогор... Я боюсь, пустите выйду!

Дочь сразу принималась ее уговаривать:

– Помилуйте, матушка, никакой горы нет, ровное место, не извольте беспокоиться...

– Ну хорошо, – умиряющим голосом соглашалась Наталья Ефимовна. – Так ты говоришь, нет опасности?

– Никакой, матушка, будьте покойны.

Но только карета проезжала несколько сажений, Наталья Ефимовна опять кричала:

– Стой, стой!..

На счастье, по обочинам дороги показались домики чистой богатой деревни. Перед каретой так и высыпали на дорогу девочки, которые принесли корзинки ранней земляники (не только май, но и начало июня теплым-претеплым выдалось, так что лесная земляника прежде срока созрела), а бабы вынесли горшочки со свежими сливками. Барыни с охотой всем этим полакомились, вспомнив, что обед за хлопотами пропустили, а Антонина и позавтракала, и пообедала, потому что и ее щедро угостили, помня, что не только от быстроты лошадиных ног, но и от крепости рук «кучера» теперь зависит, как скоро удастся добраться до дому.

К общему облегчению, Наталья Ефимовна, откушав земляники и напившись сливок, успокоилась и умолкла: должно быть, уснула, убаюканная раскачиванием кареты. Выехали из деревни благополучно, преодолели очень красивую березовую рощу (похоже, именно там и была собрана земляника), дорога казалась вполне удобной, как вдруг поперек нее появился широкий и глубокий песчаный овраг.

Антонина натянула вожжи, примотала их к колышку, чтобы лошади не тронулись с места, и вышла посмотреть, каков спуск.

– Мы здесь проезжали, отсюда до Диомидовки уже не больно далеко, – раздался из окошка кареты девичий голос.

Антонина обернулась и увидела улыбчивое, хорошенькое личико барышни Диомидовой.

– Еще тогда нам пришлось из кареты выходить, чтобы легче коням было, – продолжала Маша. – Но, сдастся мне, овраг тогда поменьше был...

– А берега-то песчаные, – догадалась Антонина. – Осыпаются, дождями подмываются да еще внизу ручей бежит, он тоже песок выносит...

– Мужики нерадивые! – сердито бросила графиня Стрешнева, в свой черед выглянув из окошка кареты. – Нет чтобы засыпать овраг, всем миром собравшись! Или мосток навести! На какой авось да небось надеются?

Ответом ей было молчание, ибо ответа на такой простой вопрос никто не знал. Испокон веков живет дорожная Русь-матушка авосем да небосем, и, что самое удивительное, они ее пока не подводили – глядишь, и впредь не подведут!

– У нашей речки берега тоже осыпаются, – вздохнула Елизавета Львовна. – Того и гляди мосток рухнет, даже страшно на него въезжать бывает, особенно после дождей...

Тут проснулась Наталья Ефимовна, опять запищала и потребовала, чтобы ее выпустили из кареты. Дочь и графиня вышли вместе с ней. Антонина волновалась, конечно, однако спуск

в овраг оказался легким, лошади спокойно перешли бегущий внизу ручеек. Правда, на противоположный склон поднимались не без труда – колеса вязли в песке, даже несмотря на то что барыни садиться не стали: потащились на взгорок пешком, помогая друг дружке. Антонина же тянула лошадей под уздцы.

Наконец с облегчением снова утвердились на прямой дороге, расселись по местам, и лошади без всякого понукания пошли так ходко, что душа радовалась.

Однако вскоре радости у Антонины поубавилось. Карета начала то на один бок крениться, то на другой, как-то странно заскрипела, и вскоре, оглянувшись и свесившись с козел, Антонина увидела, что колеса так ходуном и ходят. Похоже было, что втулки совсем расшатались, повывинтились, и не одно, так другое колесо вот-вот отвалится. А это значит, карета осядет, завалится, и тогда четверем женщинам ее нипочем не поднять без посторонней помощи! А откуда эта помощь возьмется, когда они уже на лесной дороге, ведущей к Диомидовке?!

Пришлось остановиться, забросить вожжи на ветку раскидистого дуба, который стоял у самой дороги, и осмотреть колеса. То ли тяжелый подъем по песчаному склону так их расшатал, то ли никакого пригляду за ними со стороны Парфёши отродясь не было. Антонина ужаснулась: деревянные ступицы растрескались, и чугунные втулки в самом деле ходили в отверстиях слишком свободно. Но голыми руками (а у нее никакой рабочей sprawy, понятное дело, не было: ни орудий кузнеца, ни колесника!) их не завернешь так, чтобы еще несколько часов пути выдержали. Ехать можно было только очень медленно и осторожно, да по хорошей бы дороге, а не по лесной, где там и сям торчали вылезшие из земли корни деревьев да зияли ямины, да возвышались ухабы!

И не объедешь их: дорога неширока, да и видно ее плохо. Конечно, в июне темнеет поздно, однако в этих местах лес смыкал свои кроны, поэтому чудилось, что уже глубокие сумерки.

– Что же делать? – пробормотала Антонина, и вдруг рядом с ней раздался глуховатый голос:

– Помочь, красавица?

Она обернулась так резко, что упала бы, когда бы ее не поддержал какой-то незнакомец. Он выглядел бы как самый обычный крестьянин, однако на голову его была глубоко насунута шапка, а лицо снизу до половины завязано черным платком, оттого голос и звучал глухо. Этот платок придавал лицу вид поистине пугающий!

И, словно для того, чтобы устроить Антонину еще сильнее, незнакомец вдруг махнул рукой и воскликнул:

– Эй, вылезай на свет, кровь разбойная!

Немедленно из-за деревьев вылезли, вышли, выскользнули на дорогу и окружили карету еще трое мужиков, которые и одеты были так же, как первый, и выглядели так же страшно с этими черными платками, до половины закрывающими лица. Но хуже всего показалось Антонине то, что у каждого за поясом торчал или топор, или сабля, или даже пистоль.

Девушка переводила взгляд с одного из них на другого, но ни слова не могла вымолвить от страха, потому что теперь не осталось сомнений в том, что вокруг собрались разбойники... лесные разбойники!

Антонина всегда соображала быстро, и сейчас мысли так и закрутились, проворно забежали в ее голове. Не раз слышала она рассказы о том, что дремучие леса, которые приступают к большой дороге, служат приютом вора и убийцам. Лихих людей привлекало то, что у путников всегда есть при себе деньги и имущество, которым вполне можно разжиться, пригрозив смертью. В Нижегородской провинции³⁴, случалось, тоже пошаливали, поэтому путешествен-

³⁴ В описываемое время, после реформы Петра 1720 года, провинциями назывались некоторые административные образования, которые позднее изменили свои очертания и стали губерниями. Нижний Новгород был центром Нижегородской

ники обычно отправлялись в дальний путь целыми поездами, под охраной. Но Нижегородчина – глухомань лесная, а вот встретить воровскую ватагу здесь, между Москвой и Владимиром, где множество деревень и деревенок, где там и сям натканы постоянные дворы и почтовые станции, которые часто оказывались навешаемы солдатами и полицией... Вдобавок разбойничьи шайки, если уж выходили на своей грабительский промысел, старались держаться как можно ближе именно к главному проезжему тракту, чтобы взять богатую добычу, а потом залечь в каком-нибудь тайном месте. Но здесь, на этой полужаросшей лесной дороге, которая вела только в Диомидовку, грабители могли дожидаться встречи с удачей довольно долго!

Не странно ли, что эти страшные люди появились именно теперь, когда карета Диомидовых въехала в гущу леса, а втулки в колесах расшатались, так что даже если бы Антонина сейчас вскочила на козлы и погнала лошадей во всю прыть, уйти от погони все равно не удалось бы? Неужели разбойники поджидали их, зная, что они проедут здесь, проедут скоро, а главное, окажутся совершенно беспомощны?!

Но кто мог сообщить им об этом? Парфёша? Может быть, прав оказался Серёнька, подозревая его в пособничестве конокрадам? И тот же Парфёша помогал разбойникам в их воровском промысле?!

Что ждет их всех, пленных женщин?! Будут они убиты на месте или...

Антонина не успела додумать ответа на этот пугающий вопрос, потому что немедля получила на него страшный ответ. По знаку своего атамана (а тот незнакомец, который заговорил с Антониной, а потом выкликнул из леса своих пособников, был, несомненно, их атаманом) ватажники кинулись к карете и вытащили оттуда графиню Стрешневу и обеих Диомидовых – мать и дочь. Графиня Елизавета Львовна пыталась отбиваться, бранилась на чем свет стоит, однако ее наградили крепкой оплеухой, живо связали и швырнули на обочину. Точно так же была связана и брошена рядом Наталья Ефимовна Диомидова. Обе барыни продолжали оглашать округу истошными воплями да стонами, а Маша стояла как окаменелая. Она словно и в самом деле превратилась от ужаса в камень, недвижимый и безмолвный, так что не сопротивлялась и молчала, когда ее схватил один из разбойников и потащил в лес.

Только теперь Антонина очнулась и рванулась было бежать, однако была через несколько шагов перехвачена двумя «удальцами», причем руки их оказались настолько крепки, что, как ни билась она, как ни трепыхалась, все было напрасно.

– Угомонись, – шепнул, подойдя вплотную атаман. – Не бойся, я с тобой ничего дурного не сделаю, хотя, будь моя воля... ох-ма, мать родна! – Он многозначительно присвистнул, и голубые глаза его блеснули из-под шапки так жадно, что Антонину дрожь пробрала.

Девушка испуганно отвернулась.

– Чего колотишься? – буркнул атаман уже сердито. – Говорено было: нечего меня бояться! Но только знай: кабы не поклялся я побратиму, не ушла бы ты от меня... никогда бы я тебя не отпустил! Ох-ма, мать родна, до чего ж покидать тебя неохота!

С этими словами он вдруг припал к губам девушки, не то поцеловав, не то укусив, а потом канул в лесную чащу в том направлении, куда уволокли Машу. Двое его пособников потащили следом Антонину.

Нимало не успокоенная словами атамана, она продолжала дергаться и рваться, попыталась кричать, однако мужики приостановились, один выхватил из-за пояса нож... Антонина решила было, что тут ей и конец придет, однако он только отхватил этим ножом лоскут от подола ее сарафана да, скомкав, запихал ей в рот, поцарапав щеку своим крепким ногтем.

Затем Антонину в немилосердные тычки снова погнали через лес, причем передохнуть не давали до тех пор, пока не забрезжила сквозь деревья опушка, а там поджидал гнедой конек,

которого держал в поводу тот самый мужик, что недавно уволок в чашу Машу Диомидову. Однако ни ее, ни атамана здесь не было.

Антонина сначала взглянула на коня мельком, а потом глаза вытаращила: по приметному белому пятну на носу она узнала одного из краденых коней графини Стрешневой! Ну да, того самого гнедого, коего не далее как нынче утром, под покровом тумана, увели в лес два вора, мужчина и женщина...

У Антонины от таких совпадений голова кругом пошла, однако особо раздумывать ей не дали. Один из мужиков подвел коня к пеньку, вскарабкался с пенька верхом (конь был по-прежнему не оседлан, только взнуздан), уселся поудобнее, а потом его пособник взвалил на коня и Антонину: нет, не посадил, а именно взвалил – перекинул через холку перед всадником, так что она повисла вниз головой.

– Хороша девка, да больно строптива! – пробурчал один из разбойников, не преминув несколько раз грубо и жадно лапнуть Антонину, пока взгромождал ее на коня. – Как глазами-то жжет!

– Губы подбери! – хрипловато хохотнул всадник. – Не про тебя огонь горит!

И всадник, одной рукой придерживая Антонину, чтобы не свалилась, а другой сжимая узду, ударил коня пятками и погнал куда-то в чашу.

Вся кровь прилила к голове, вдобавок ветки кустов и деревьев хлестали ее то по лицу, то по голым ногам: мужик, громко гикая на коня, гнал не разбирая дороги, и надолго Антонины не хватило – очень скоро в глазах помутилось, и она лишилась сознания.

Глава десятая

Побег

...Луна светила ярко, так ярко, что отчетливо, будто светлым днем, видно было бледное лицо, черные глаза, черные кудри, разметавшиеся по плечам. Алый платок мерцает в лунных лучах...

Кто это? Знакомое лицо! Знакомый платок! Да это Флорика! Цыганка проклятушая! Склонилась низко над Антониной, бормочет насмешливо:

– А ты сама кто такая? В ночи небось видишь как днем? А думаешь, на это одни только кошки способны? Не-ет, это в тебе цыганская кровь играет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.